

Рустем Кутуй

Профиль ветра

Стихи

Казань

Татарское книжное издательство

2006

УДК 821.161.1–1

ББК 84 (2 Рос=Рус)–5

К95

Составитель – **Ольга Левадная**

Кутуй Р.А.

Профиль ветра: Стихи / Рустем Кутуй. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2006. – 383 с.

ISBN 5–298–03993–6

Рустем Кутуй — один из видных мастеров современной поэзии, автор более пятидесяти книг, переведен на многие языки. Его творчеству свойственна метафоричность, глубокое самобытное видение мира, автобиографичность деталей, мудрое и ответственное понимание роли художника.

В книгу вошли стихи и эссе, созданные поэтом в последние годы.

ISBN 5–298–03993–6 © Татарское книжное издательство, 2006

© Кутуй Р.А., 2006

Моя Казань! — Сказать имею право

Моя!

Моя Казань! — сказать имею право,
Стоит она в незыблемой оправе вод
и позади, и впереди, и слева-справа.
«Стара коса...» — да это от лукавого —
«...орда — орава...».
Вся на плаву, не хочет сплава,
и сбережет свечу, как под ладонью пламя...
Ее и так, и эдак исходил
с ватагой иль один.
Она с вниманьем мне внимала
древесно-каменной душой,
последний грошик вынимала:
«Ходи, пока живой!»...
Акация шипит.
Похоже, там глазунью жарят.
Луна плывет над палисадом,
огненная, жаром.
Округу оглушил
полдневный зноя спирт.
Косогор в ромашках спит,
Как младенец в колыбели.
Овраги, рощи оробели...
Прости, о, Небо!
И земля, прости!

С чего бы сердце
мне сказать велит?
Остыло облако вдали...
Я точно истину постиг внезапно,
соединил восток и запад!
Такая ночь
деревней дальней. –
Угольком запахло.
Я свеж, промыт, –
Я баней пахну!
Примолк, не успев и ахнуть...
То арфой зазвучит
а то – кураем
с парома
или края Подлужной
голосом натужным,
хриплым и недужным,
то балалайкой заболтает
в Суконке где-то
весело малайка...
а здесь и мандолина
заплачет Магдалиной
покажется, в платочке алом,
такая сутолока небывалая
меня купала
минаретами и куполами...
Какой угрожающей силой
могли бы сокрушить меня,
на кровь весь разум поменяв...
Когда косило, на груди носила,
и вынырнула до этого вот дня,
как солнце над головою приподняв.
Я камешек ее или тростина,
сквозь пятку мысль меня прожгла:
она б и нищего, побитого простила,
за Пугачевым в степи увела...
Решеточкой Азимовской мечети
одела б в горести и собрала бы в горсть:
«...Пока вы стрелы с-под кольчуги мечете,
мой сын – кровинка, а не чадо-гость!..»

Никто и шепота ее не слышит.
Повдоль кремля шагаю я сквозь ночь один.
Слетаются ко мне все ниши-крыши,
летучие и бредущие мыши:
«...Ходи до дома, отдых находи, очаг,
пока что не зачах, есть свет в очах...»
И я в безмолвии тревоги,
покорно продолжаю путь,
покуда руки тверды, не погнуты ноги,
любовью полнится слегка придавленная грудь.
Моя Казань!..

Родина

Здесь я родился,
вырос здесь

и здесь – умру:
не выбирать –
в подушках иль во рву...
Ты, Родина, мне мачехой не будь –
твоей судьбой измерен путь
и разделен до вздоха, до кровинки...

И что мне яростные крики,
злость затаенная и месть –
зачем, к кому? – а то бог весть!
Меня не станет, ты-то есть
и будешь!
Не твердыня, не ограда –
другому сердцу тихая отрада.

Кремль

Он мне защитой был всегда, –
стена ли, льющаяся ночью,
огни Подлужной, воздуха
слюда...
Я приходил домой,
усталый, но не злой,
ночной обсыпанный золой...
Он... за спиной стоял
всей морочью обочин,
которые сумел я одолеть.
Вослед свистала
ветра плетъ.
И путь отца... других
безродных...
И сладостна была
усталость плеч.
Глаза прикрой –
и всюду огороды.
Слияние теней и лиц,
давно уже на свете
побывавших...
Я пил свой чай,
дошедший, не пропавший...

А Он стоял – тут, рядом,
Как чалмою опоясывающий,
под тихим светом
голубых зарниц.
То был мой Кремль,
не памятник, а весть...
Да,
и в ночи обереженье есть.

Вещий сон. Сююмбике

Сююмбике мне за полночь
приснилась,
рукой плеча коснулась, повела,
серпом хрустальным осенила...
Я вышел на холмы.
Там яблоня цвела,
и вишня крылышками лопотала,

и одуванчик плыл,
и лютик подбегал
к ногам – такой он любопытный
малый...
Подковою вода вокруг легла.
Узорна жизнь
и тысячеозерна,
но ты гляди
несуетно и зорко.
Казань всплывает айсбергом.
Уйдешь – помашешь с берега:
«Ищи свою Америку!»
Но роднички легенд
ступни качают.
Куда мой плот причалит
на сходе лет.
Я сплю. Я долго просыпаюсь.
Небрежно жемчуга пересыпаю.
Бесценна музыка.
И ласточкин обрыв
Загадочен, неузнанный,
Запечатленный взрыв,
весь в дырах гнезд.
Живой экран.
Перст Бога прост –
яйцо, древесная кора.
В морщинах дней
гуляет пыль.
Я сам любил – сам
позабыл о ней.
Зачем, Сююмбике, ты мне
приснилась?
Дрожащий плат с руки
порхнул по сини.
На стол ко мне вдруг опустился –
и с девушкою навсегда
я к вечеру простился.
И снова взмахи крыл
шумят над головою.
А небо чисто –
голубое.
Сам полюбил –
и сам забыл.
Какой-то жалкой
горсткой слов
делюсь с другими.
Храню отдельно
только имя.
Как кормчий
гладкое весло...
Над башней
облачко летит,
Повдоль стены
нисходит.
И чья-то тень
беззвучно ходит
По трещинам
разбитых плит.

Казань романтическая

Не хочу я, Казань,
тебе челом бить,
Мне бы облачком
в твоём небе плыть.
Я хочу тебя, как мать, любить,
У которой все стежки сорваны
да поклеваны веки воронами.
Я и башен твоих боюсь,
как перстней,
Забродивший в окраинах Одиссей.
Не было в моей жизни
земли прелестней.
Даже битый, тебе был в угоду.
По лицу суровому узнавал погоду.
По груди материнской –
тепло молока.
Нет властелина для облака:
Я же знаю, летал не раз,
Задыхаясь во сне, наяву смеясь, –
Чешуя звезды на лбу запеклась.
А две розы цвели
вместо черных глаз.
Ни-че-го!
Ты меня – в колыбельку,
И беда за бедой помаленьку
Убывали...
Ты же, грудь моя,
Вздоха полна,
Посреди битья
Катит волна.
Я люблю тебя,
сын, не пасынок,
В гордокаменной опояске.
Погляди – угрюм,
а как рассмеюсь,
Дорогой своей
на всю жизнь приснюсь.

Утро

А в моей Казани
промелькнули утром
беленькие сани...
Я люблю поземку!
Воздух стал ознобным.
Будто оказался
я на месте лобном,
весь открыт, распахнут –
встретились, очнулись
вдруг Восток и Запад!
Травы затаились,
воды застеклились...

Долго мне такое
в заморочке снилось –
через глушь, унынье,
глубину врагов

проблеск юной сини,
неземная влага...

Жизнь не терпит страха,
жаждет удивленья,
мускулом трепещет.
Чудо просветленья
матери из женщины.
Так выходит голос
змейкою сквозь трещину.
Сон дороги вещей –
хрипотца, поземка,
не надлом крошечный.
Здесь! Само рожденье!
Грубой силы нежность
и полей безбрежность.

Каменных оград
столпотворенье.
Трудный бег –
и взлет стихотворенья.

Краток взмах поземки –
унижение пыли.
Дух зимы незвонкий,
гривы взлет кобылей,
срез свинца, распилы,
баньки сруб смолистый,
детский, полный силы,
задрожавший дискант...
Чистота!
Клинками
холод лунный резок.
Так и я когда-то морозное
поцеловал железо
и оставил кожи бересту.
Вкус крови
я доныне помню
крышей отчей кровли...

Мне Казань, как утица,
в доброе предзимье.
Перышками – улица.
Белое и синее.
Серое повыхлохось,
показав изнанку...
Вот какое утро
встало над Казанью!

Акварели

Лошади по булыжнику цокали
Под окнами.
Перезванивались со стеклами.
Цвела герань поволокою.
И березка пушилась на цоколе.
Моя Казань! –
горбатая, многоокая,

бирюзовая рань.
В твоих переулках все гулко –
оркестры и плачи.
Даже лукавая прогулка
себя не спрячет
от ворот зрячих.
Такою была.
Приосанилась.
Забыла канавы и сани,
кушаки, гармони...
Но сидишь, как на троне,
в кремлевской чалме
с думой на челе,
белая перед весной
за древней стеной.
Перстни куполов на перстах.
Ветерок из уст в уста.
Скоро, скоро уже
вспыхнет зелень
и забьет крылом сизый селезень!
А пока кружит пена,
вьюжит пока,
башни красная легенда
возлетает в облака.

Слободские видения

В старой слободке,
в древесной глуши –
о, как странно! – я молодею.
Сколько пятен: были –
ушли,
Кораблем и сукном
не владея.
Эй, Суконка, скажи!
Адмиралтейство,
откликнись!
Я пролистываю этажи,
миги – лики. Отворяю калитки...

В Бишбалте
утонул топор в воде...
(Шурале не подглядел?)
А в Савинке среди
камышей...
А в заоблачном Забулачье...
свист и взвизг летучих
мышей.
На Сенном кто-то
маленький плачет –
отдают – продают,
не понять...
И трамваи скрипят,
как повозки.
Я же здесь! Я рядом! Я возле!
Сила есть, чтоб обнять,
приподнять.

Кто простит мою память,
запекшийся кровью висок,
когда стукнулись лбами
Запад – Восток,
обнищанье – богатство,
а искры прошли сквозь меня...

Мне Казань – бархатистые
губы коня!
Глажу голову – млею.
Как поднявший с надгробья
плиту,
в старой части, вздохнув,
молодею,
птицу-слово ловя на лету.
Кто мне скажет:
безвозрастен ценз
и бесчисленны
тысячелетья
кровопролития сцен,
луки – копья – знамения –
плети?..

Непокорен я времени,
вдалеке, –
и на ветхой скамье
молодею
с горсткой ягод в руке...
Листья осени
не облетели.
Я в младенческой тешусь
постели.
Как луна в тростнике...

Кто же там ковыляет
чуть-еле,
перестуженный
на сквозняке?

Март

Шумит Казань, березовая,
бирюзовая,
не «старая», не коса»,
от румянца розовая.
В марте беленький фартук
не сбросит,
не расчесет роскошные косы,
не усталая, не постаревшая,
проблистает откосами
безунывная женщина.

Побродить переулочками
горбатыми –
стать желанным, стать богатым.
Только нам до пиров,
до богатства ли?
А дышать мне здесь
горестно-сладостно.

Пусть везет молодому и наглому,
но меняться судьбой с ним-то
надо ль мне?
Я в бумагах, как еж-одиночка.
Для столицы лишь малая точка.
Хрусталем не обижен сосулечным,
вечно дует мне в голову с улицы.
Выдувает все темное, грешное...
так уж выпало – жить
с «поперечиной».

А с востока уже алеет.
Сердце всякую птаху жалеет.
Скоро нас повлечет, как на саночках,
заворкуют самцы и самочки.
Мой балкон развеселится:
вот, мол, я! Твоя столица!
И пойду я опять переулками,
став богатым морозными булками.
Сон был вещий, с ним и проснулся
или ветром пахнуло с улицы.

Ой, Казань моя, знай пошумливай!
Мы играем легко, мы – не шулеры.
Хоть и старые, все твои дети.
Каждый лоб луч косящий пометил.

Предутреннее видение

Тысячелетние нули я не рисую –
О судьбах я, о судьбах...
По ярусу предутреннему башни
Она чуть движется,
совсем не бесшабашна.
Для броска, в шальварах розовых
Почти что невесома,
Как облачко без всякой позы,
По ярусу, по рощице березовой,
Так девочка идет и веткой машет,
И щечки тронуты зарею розовой
И белизной ромашки...
А тут она, Сююмбике, так легковесна,
Первейшая невеста.
Над нею тучки. Но она – над камнем,
Над веками, как оживающая память,
Не уловить руками, не удержать...
Прошла, истаяла – и нет ее.
Была же только что!
Чуть облачко примяла покрывалом...
Но все вокруг переменялось, ожило,
До тончайшей кожицы...
Так вижу я, превозвышая башню.
Мне прошлое, притихшее, бесстрашно.
Ушла – и обнажилась гладь.
Одно пространство. Ни угла.
Все личное, как ласточка у глаз.
А здесь Она Одна,
волнистые шальвары.

Идет – плывет дорогой старой
По ободу земного шара...
Пропала... Лишь до завтра.
Прислушался Восток
Насторожился Запад.

Февраль

Карниз навис, как полоумный,
грозится вниз – не шапкой оземь – тумбой!
У снега замер дух, таится барсом,
а день уже в саду в простынках разметался.
Спит озеро во льдах воспоминаньем.
Кружат, кружат лета восколыханьем.
Небесною полой запахнут город древний,
вокруг белым-бело, и тем напевней.
Что скажут имена: «Кабан», «Булак», «Суконка»...
По грудь заметена, а дышится как звонко!

До краешка налит сам город с чудным верхом
и слабо шевелит собольим скользким мехом.

Какой февраль! – за пазухой свирели!
Дурь со двора повымело весельем
и хрустом сквозняков... И вот уж храм готов.
Какой!
Чистейший наст молочной пеной пышет,
почти у глаз чуть занавес колышет.

Дай бог вам чистоты
от помысла до дела,
чтоб в белые сады
душа легко глядела.

* * *

Без малой родины и мы невелики,
попробуй утоли свой сон и жажду.
Невидимые корни глубоки,
ну, а живем без малого однажды.

Что свет в окне? Тропинки поясок?
Бугор и роща? Сумрак над долиной?
Но только здесь ты строен и высок,
И полон силы неодолимой.

Да, да... Конечно, истина стара.
Как мать, стара; и камень у дороги.
И след судьбы на скошенном пороге...
Тихи, как слезы, жизни вечера.

Маляры у Казанского Кремля

Не жалейте мелу, маляры!

Кисти добрые настройте, музыканты-маляры!
Чтобы в камне закачались и застыли облака,
мел берите самый чистый – побелее молока.
Чтоб казалось – опустилась стая ясных лебедей
и гнездо кладет большое возле солнечных людей.
Вам бы должно побрататься, пообняться
с красотой –
вон играет в синем танце белый голубь с высотой,
опадает, чистокрылый, и взмывает – перья влет,
и крыло его косое узким парусом поет.
Вот и вам бы постараться, руки пели бы ловки,
пальцы в струны бы вплетались, не сжимались в кулаки.
Запоет стена, как арфа. Белый звон стечет с горы.
Сотворится в полдень чудо, музыканты-маляры!
Чтобы кремль светло стоял бы, как слеза в глазах,
чтобы всякому приснилась белым сном Казань, –
кто покинул, затоскует... Веселее, маляры!
Иль в руках у вас не кисти, а тяжелы топоры?
Подарите башне Тайницкой влажной пены кружева,
чтоб стояла в ослепленье, чуть от легкости жива.

...Пыль по листьям пролетает. Маляры макают кисти,
в белый, звонкий, сочный мел.
Будет кремль, как сахар, чистый –
камень белое запел.

* * *

Мечеть Азимовская хороша, как вдруг окаменевшая душа
на самом вздохе в день прекрасный...

Снежок порхает ясный-ясный
и ветерок исподтишка
дохнет, от воли света праздный,
и тут же сгаснет, чуть дыша.

Мечеть ажурна и легка
и видима издалека,
в сторонке будто, одинока,
лицом повернута к востоку,
где месяц зябнет в облаках.

Исповедь на заре вечерней

На заре вечерней разламываю гранат.
На заре вечерней серебром по черни,
серебром по черни купола горят.

Вся моя до корня слабой травинки,
до капли слезы на циферблате белом.
Знаю ночи твои –
и меня, как лося, травили,
знаю светанья –
полет и поскрип колыбели.
Рос, как придется, и в рукавице ежовой.
У косы звенящей не вымолит ласки стебель.
Ах, душа! Еще бы разок нам пожить хорошо бы,
слыша неба раскаты и воды лепет.
Пожить в избытке силы тревожной,

бить ногами,
с огнем разговаривать накоротке,
пока подбирают узду да вожжи,
с камышом-тростинкой сокрыться в реке,
сигануть крылом, песком из ладоней вытечь,
раствориться звуком, возродиться ожогом...
Казань-прародительница,
и корой пожухлой не вычесть
меня из тебя.
Пожить бы подольше, ох, хорошо бы!
Не зажитья, нет, а сполна исполнить
желание, веру, выцвести до кожурки,
замешать в огнедышащем полночи, полдни,
запахнувшись прекрасным и жутким.
Кто меня назовет пришельцем или
приблудным?
Каждый мой след зашевелится
под светом лунным.
Песни я пел. Но кто их петь не умеет?
Всяк языком ласкает нёбо!
Но я пел, как дышал, задыхаясь, немея.
О, песнь моя, по крови ознобом!
Зазнобушка! Златотканая песнь
о любви бесконечной, не сладкоголосье,
я в тебе, Казань, раскружился весь,
как лист в осени.
Сгорел. Народился заново. И опять жадно
врезал ладошку пятипалую в синь.
Пахнет весной, бензинной, безлошадной,
как в детстве пахнет конфетами магазин.
Уезжал. Удирал до самой Армении,
в горы лез, скалолаз доморощенный.
И что же? Камней столпотворение
только голову зря морочило.
По Тянь-Шаню шатался, озираясь молодо,
как шашлык, обжаренный со всех сторон.
Пламенея, маки меня околдовывали,
шелковисто стелился сон.
К Улуг-Хему ходил, как сходят с ума нечаянно.
В обнимку с Байкалом бурел и синел.
А душа неслась себе, неслась, не чалилась,
на туго вызванивающей блесне.
А в глазах – стена белая-белая вверх
плыла, оплетала, нежила шею,
и тихий шепот губами касался век:
«Разве найдешь меня хороше`е?»
Да.
Оторвись на пядь – и непонятно болен,
пустынь охватывает, свет тяжелеет.
Ходишь сомнамбулой и грезишь полем,
где даже оглобля, и та тебя пожалеет.
Вокруг камни – надгробья тысячелетий –
в розовом сне запрокинулись тяжко.
Булавки веток на горном жилете,
дорог расползающиеся подтяжки.
Спит гора, бессмертная глыба тайны
Зачем я здесь на земле чужой
тоскую, зализываю трещины неустанно,
сам лихорадка и черный ожог?
Не могу без тебя, Казань!

Может быть, так и надо,
к вздрогнувшему сердцу прижать ладонь
и боль ощутить глухую, надсадную.
Человеку нельзя без погонь.
Тоску загною, как лошадь голенастую!
Упомяну — вылепить солнце из огня.
Да, я — безумец, призываю несчастье,
чтобы молния настигла меня.
Скажи мне, кто за спиной твоей дышит,
преследует кто? Пусть химера, блажь!
Жизнь есть погоня в степи и под крышей,
предвосхищение ножа у ребра.
Тогда ты — поэт,
опасности баловень вечный!
Над бездной закуришь и камешек скатишь вниз.
Не песок сквозь пальцы, зернистый Млечный
течет и млеет. Это и есть жизнь!
Взахлеб, до скалы, застрявшей в горле,
до заноз в груди от смолистых лучей!
И на сердце так, как в чистой горенке,
или голове на белом женском плече.
Благословляю погоню!
Вихрь свистящий аркана,
вонзенный в лопатки
шепот ужаса, посверк, гик.
О, муравей, превращающийся в великана!
О пламя, льющееся из-под руки!
Я обязан погоне
свершением главных деяний,
занесенному лезвию, плетке над головой.
Как огонь золотой, обжигалось о слово дыханье,
становясь песнопеньем,
подброшенной к небу золой.
Я — гонец с доброй вестью за пазухой грешной.
А за мною копыта и гогот,
клубясь, обтекают в глуши...
Так пишу свою повесть. Ее не закончу, конечно.
Но я мчал, уходил,
пока черный огонь не прошел.
Знай, мой сын,
дочь моя,
по следам устремившийся странник.
Знайте,
слово, добытое кровью, открыто любил,
край застенчивой родины,
бирюзы на снегу возгоранье,
мед и перец, и ласточку взглядом ловил!

Моя столица

Ты меня вынянчила, сердобольная, —
не из грязи в князи! —
я в твоём подоле
кулек завязанный
на черный день.

Ты — моя столица,
отзвонившая в колокола, —
бледнолицая,
но — смугла!

Речь крута иль полетна,
то – дикарка, то – пава,
бредит степью паленой,
нежит свежей купавой.

В тайниках твоих
и полон, и плач,
стрел каленых вихрь,
под полой – палач.
Ох, и древность – слеза,
тени кручены –
оживут голоса,
всплеснут рученьки.

Каждой оспинке рад
на щеке дряблой,
когда осень с оград
катит солнышки яблоч.

И плывет моя лодка
от излуки к излуке.
Вслед из дымки молочной
с башни вскинуты руки.
Кто зовет, кто клянет?
Перепутаны звуки.
Жизнь на грудь мне кладет
присмирившие луки.

Смех

Воспламененною грядой над лесом
струятся облака. Вечерняя картина.
Укропом пахнет, не железом,
озерною водой и тиной.

Я зеркалом веду, я проникаю взглядом
в покой земли. Мне ничего не надо.
Лишь знать, что прошлое с грядущим рядом,
как воздух, чуть клубящийся над садом.

Пчела висок мой крылышком задела.
Смех от воды взлетает, опадая.
Смеяться – очень искреннее дело,
не все давить на седла и педали.

Не все металл и дерево нам мучить,
энергией поить, а не здоровьем.
Букварь небес давным-давно изучен,
освоен, взят тельцами свежей крови.

Коловращеньем принят, а воображенье
не хочет испугаться темной бездны.
Вселенная – земное отраженье,
где всяк крылом в ее просторы врезан.

Прекрасен смех в неомраченном мире
детей и женщин. Легонький струится,

как облака над розовою ширью.
День погасает, но не меркнут лица.

Я зеркалом веду, я проникаю взглядом
в покой земли. Мне ничего не надо.
Лишь знать, что прошлое с грядущим рядом,
как воздух, чуть клубящийся над садом,
сиреневый, с душистой влагой, нежный,
пей не напьешься. Песни и удачи!
Мы вытерпели войн суровый скрежет,
на сходе века чем нас озадачат?

Чем устрашат? Блескучий самолетик
завис в глазу, жук-плавунец небесный.
Он на закате, право, мимолетен,
в тревоге дней совсем не бесполезен.
Он, как взлетевший обелиск до выси,
одетый крыльями, звенит о наши души,
пульсирует сверкающею мыслью
настороже над путником идущим.

Мелькнул и нет. За верстами сокрылся.
А в озере детишек мать купает.
И смех скользит, он весь озвучен смыслом,
не умолкая, вьется над губами.

Я зеркалом веду, я проникаю взглядом
в покой земли. Мне ничего не надо.
Лишь знать, что прошлое с грядущим рядом
как воздух, чуть клубящийся над садом.

* * *

Перетекают дни один в другой –
с багрянцем тот и с сединою этот.
На берегу стою, себе не дорогой,
враждебною помечен метой.

Чужие руки выгребли весь жар,
угрюмо затоптали пепелище.
И за рекой играют и кружат
у белых стен согретого жилища.

Поют и пляшут... Дом-то мой сгорел.
А там – и стол, и музыка в обнимку...
«Кто одиноко стонет на горе?
И чье в потемках поминает имя?
Иди же к нам!..»

И просто переплыть.
И сесть к огню,
и повести рукою...
Когда бы все равно кого любить,
о ком жалеть над темною рекою.

* * *

Если б меня спросили,
что я больше всего люблю на свете,
я бы ответил:
— Свет, уходящий из листьев,
устилающий чьи-то следы,
настигающий чью-то печаль.
Я люблю осеннюю родину,
когда деревья, как руки,
поднятые к птицам,
когда к девушке приходит
тихая,
как свеча, закрытая ладонями,
жажда материнства,
когда к юноше приходит
ясный,
обнаженный, как клинок,
свет мужества,
когда седой старик на скамейке
похож на белую глыбу льда.
А солнце стоит,
большое и чистое,
улыбкой счастливого мальчика
между жизнью и смертью.

* * *

О родине особые слова
по капле крови.
Летит звезда. И мать жива.
Добро под кровлей.
Вот хлеб. Вот соль. Лицо в слезах.
Тебя здесь ждали.
Над миром колетса гроза
и освещает дали.

* * *

Я живу на земле,
привязанный к ней корнями.
Надо мною клубятся надежды.
Правды вкус солоноват на губах,
как слезы.

Чище кристаллов не видел,
чем слово.
Познаю откровенье —
и такая есть в мире работа —
мозгом костей созидать соборы.

Не без роду и племени
даже куст на ветру лепечет.
На другой земле
был бы сир и ничтожен.

Радость бывает,

будто звезды хрустят на зубах.
Избыть свою жизнь,
изболеть,
перелить,
врасти в продолжение.

Сколько стеблей вокруг меня
сплелось,
сколько звуков прошло горлом.
Жизни лицо
не в оспинах черных,
а в золотинках.

Здравствуй,
день молодой на срезе!
Здравствуй,
стая над головой!
Продолжение,
здравствуй!

Родина

На лике Родины морщин не сосчитать,
прах иноземца тлеет сном бурьяна...
Какую память носит в чреве мать –

дитя глядит светло и странно,
то дико вдруг, а то темно,
и гнев, и своеволие рот ломает...

Отечества другого не дано,
здесь мысль и кровь на алтаре пылают.

Жить!

Мне жить и жить, как не напиться из ручья.
Ненасытимый, я даже в бедах и печалях,
спокойствием деревьев заручась,
на склоне затаен, дремлю нечаянно,
без напряжения сердца и плеча, –
как вольно телу на земных пирах!

В стакане так плывет чайнка,
иль пара облаков легонько во дворах
передвигается,
покуда пес цепной на свет взирает чинно,
сам для себя хозяин при дверях.
Так я дремлю и беды отлетают беспричинно.
Вот мальчик егозит туда-сюда –
челнок, юла, прозрачный мотылек,
белейшая панама,
из ночи в день с приступочки крыльца
течет он, словно пламя,
а дальше – к лесу, к озерку ныряет прямо,

и ручейком за ним стремится наша память
морщинами с лица...

Я жить люблю.
Простые посиделки,
вдыхать соленый запах огурца в тарелке, —
люблю и хрена горького лукавые проделки
до слез,
ажурной влагою укроп и лука трубчатые стрелки,
кровь помидоров, взрезанных под пылью перца мелкой
и ветер, будто бы исподтишка, быстрее белки,
влетающий за пазуху... Все тайны естества,
всплывающие, точно острова.

Люблю я видеть женское лицо без грима и побелки,
и хитростей румян, дешевенькой подделки,
как видят луг в сияющей низине,
иль яблоки на травах, не в корзине,
где вечно что-нибудь скользит — пчела иль паучок,
а яблока уж высвечен бочок,
верней, подсвечен чуть худой соломкой, —
и жизнь так хороша, вся в топотках негромких
что даже пень задумался в сторонке:
пускать прутки иль малость обождать...

Я жизнь люблю,
как в детстве, не горя, любят мать
ручонками вокруг шеи обвивать,
вдыхая запах хлеба и жилья,
хоть мать темна, как жухлая земля.
Люблю! —
не омрачая лба печатью скорби, —
мать, может, вовсе не мила и плечи горбит,
пугает сухожилиями рука...
Но мать есть мать, и нету мамы кроме.
И до сих пор ее душа меня надеждой кормит.

Я жизнь люблю,
как колку свежих дров
и первой изморози вяжущий покров
из кристаллического маленького снега,
когда в крови истаивает нега.

Жить, не ропща, приволье отпуская от себя,
как зеркальцем смеющимся слепа,
и удивляясь не взхлеб, а постепенно,
что на земле невидимы ступени,
но как слышна и звучна высота, —
пригни лишь ветвь и пей ее с листа.

Любить и жить!
Не впопыхах, не как-нибудь, —
и чтоб не крест тащить,
а чудный Млечный путь,
как куст, нести, обрызганный дождем.
Так день за днем.

* * *

Я в чудный миг был тем и этим –
шел в гору и катился вниз.
Как поседел – и не заметил.
Сияет лед! Блестает жизнь!
Мала?
Но в сладостном мгновенье
в одну картину ветер свил
и детства легонькие тени,
и золотую тяжесть крыл.

Какая бездна за плечами
воркует темною водой?
Что за летания ночами
над фиолетовой грядой?

Старик с улыбкою младенца,
дитя с усмешкой старика, –
как уместила в одно сердце,
слила и вспенила река
весь гнет и свет воспоминаний,
и возраст низвела на нет?
Что там вдали туманом манит?
Чья тень замерзла на окне?

Так чем же бег ее измерить –
огонь и лед в одной горсти!
А позади, как крылья, двери
лишь эхо может развести.
Лишь эхо – снега дуновенье
иль паутины белый шелк.
Жизнь – не мелькнувшее мгновенье,
а соловьиный перещелк.

Лодка

Посреди большой воды
весла брошу,
успокоюсь.
Не зови,
зеленый поезд,
остывай,
высокий дым.
Над сквозною глубиною
я повисну,
рыб вспугну,
тело выпрямлю струною
и уйду к глухому дну.
Никому – ни зла,
ни всплеска.
Будет солнце
плыть и плыть.
В смоляной прохладе леса

будут девушек любить.
Приплывет пустая лодка,
одичавшая,
к утру.
Люди выпьют тихо водку,
слезы слабые утрут.
Скажут:
«Горькая забота
у него была.
Ничего.
Все слава богу.
Ладно лодка приплыла...

Я был на той войне

Огни вокзала

А что я знал? Я ничего не знал!
Живу – течет слеза.
Не жизнь, а горе кровоточило.
Кровоточило...
Впился в глаз вокзал.
Шум, плачи... Все такое прочее.
Черный ворон на суку –
все на слуху.
И я при том: конечно, «ни аза»,
расширены глаза на голоса.
Ну, как глухонемой:
«...отец не мой!
в шинельке... и суров
в крестах прожекторов...»
Совсем незнайку заморочили.
Война! А что она такое?
Цепляюсь, но прощанье под рукой...
Какой покой? Не ведал я покоя.
С тех пор:
чей взгляд? и чей укор?
над полем, над рекой. Не вижу я врагов в упор.
И нет их у меня.
Зачеркнут враг строкою.
Томятся глухо семена.
Придет пора, взорвут победно кочки.
Бегут деньки, чернеют ночки.
А мне б на лыжах, мне бы на конечках...
Нет. Ничего не запеклось. Я рос.
Торчала в горле кость.
Не слышал, как хрустела ось
земли, как раскалялась злость.
Могло ведь вовсе бы меня не быть!
Дымок и тот успел уплыть
и стать разорванной тучкой...
Да! Что на свет явился – просто случай,
чтобы любить,
как бабу снежную лепить...
Гляжу,
в погодках-то болят косые сучья.
Но светятся, как лампы, лбы.
И вдоль дороги мрачные столбы.

Молчу, укрывшись без затей,
среди задумчивых людей.

* * *

Я был на той войне
отцовским сном глубоким,
как передышка, —
васильки во ржи и спуск к реке,
тумана поволока,
все дышит ровно, капелька дрожит...
А впрочем,
не важны приметы и детали:
какая птица? кто там на мостках?
Но пули мимо цели пролетали,
замедлил бег погибельный раскат.
Я был на той войне
отцовским сном последним.
Над госпитальной койкой покружил.
Мы отдыхали с ним
на сене летнем.
Я поплавок сознания сторожил.
И те же васильки во ржи...
Чем дале путь, тем и бесследней.
А впрочем...
Сон предугадать ли?
Уже сгущался, настилаясь, мрак.
Смешались, угасая, дали...
...он отлетал...
он был в иных мирах...
Топталась смерть растерянно
в дверях.
Я был на той войне
отцовским сном последним
когда-то в мае, в 45-м,
почти девятилетним.

* * *

...на вечно зеленом, зеленом, зеленом
первые шаги

отец растет ввысь,
как теплое дерево,

мать вся, как берлога,
где поместится жизнь
со всеми ее потрохами,
горем, страхами будущего —
расширяется, расширяется...
а отец просто — взлетевшее теплое дерево...

Из настоящего — в прошлое,
повторенье дороги с изнанки,
терпеливое выживание
на вечно зеленом, зеленом, зеленом
к своему первому шагу.

* * *

До меня ли там?
Не доискаться.
Сколько переплетов, этажей.
На голову тысячи стрижей,
синька от восхода до заката
в черные, как уголья, зеницы
Все-то мне играет, все снится...

Уж война прошла и души опалила.
Не цветет подрубленная липа.
Нет меня! Со мной ли это было?
Ищут! Потеряли няньки-мамки!
На могилах их венки измяты.
Выцвели платочки, кудри, кофты.

Миновали разные погоды...
Эй! – кричу. – Я здесь!
А всюду тихо.
Дома нет.
Но ходики все тикают.

* * *

На том островке
жили большие люди.
Загадочные,
постольку, поскольку
ни слонов, ни медведей не было.

Странно смотреть снизу вверх
и видеть постоянно больших,
нет, просто громадных людей,
заслоняющих небо,
угнавших куда-то
и слонов и медведей.

Эта обида очень живуча.
Отомстить никому невозможно.
Даже тогда, когда островок
разрастается до материка
и ты сам становишься большим,
но отнюдь не загадочным.

Ни слонов, ни медведей...
Сны сереют, сереют
обволакивая войлоком.

* * *

Отец и мать ушли.
На небесах теперь у них свиданья.
Что он ей говорит?
Она что отвечает?

А нас как не было, детей.

Остались на земле, лицо закинув к небу:
там мать с отцом прогуливаются!
Прогуливаются, вечно молодые...
Об этом на поминках я узнал,
как тайну.

* * *

Дождь какой!
А за дождем –
на веранде стол накрыт.
Молодой отец в рубашке белой.
Мать моя в косынке алой.
Солнце на зеркальном самоваре!.
Ничего не стоит
к ним перебежать,
чтобы укрыться от грозы.
Дождь какой!

Школа. Первая роль

Печь истопили.
Пол не просох.
Я – на коленях
перед табуреткой –
«Ванька Жуков» –
пишу письмо
не «на деревню дедушке»,
отцу на фронт.
Слеза большая расплывается в глазах.
Я что-то там шепчу, шепчу.
Себя не слышу.
Но вздрагиваю от тишины.

В мае

О Боже, как смеялись мы!
Не маялись и в мае.
В очередях боками мялись
и тяжести крутые поднимали, –
все за какую-то краюшки малость.

Победы все-таки дождались!
Через слепые дали.
Кто как... Что проку исчислять
надежды, плачи.
Как вытерпела вся земля?!
Тот труд доселе не оплачен.
А матери? А жены?
Другим уж лучше и не знать
о годах обожженных.
У вас, сердешные, иная статья
и прочие резоны.
Чужая знать – чужая власть:

упиться денежкой бы всласть!
И ни к чему законы.
Но там по-прежнему тихи,
бесслезны ночи.
Так под защитой стрехи
о чем птенец стрекочет?
И клюв о тощенький сухарь
до срока точит.

* * *

На моей поваленной березе,
(просека в безлюдье заросла),
Шурале сидит печальный и серьезный...
Прозаичны стали чудеса:
не поймешь, где – слезы, где – роса.

Он скучает. Мы б с ним посмеялись,
посчитали б ребра, позвонки.
Пес пришел бы непременно с лаем:
пошто бродят эти старики?

Скоро зимний след ветра залижут.
Там и встретимся, дружище Шурале!
А пока один сиди-посиживай.
Жить без сказок скучно на земле.

Мотив

На улице Галактионова
басы звучат аккордеона,
легонько, неуверенно,
с окна, с балкона, с скверика,
не ярко и не серенько.

Снежок ли, дождь ли, зной ли,
мотивчик неназойливый,
бездомный, к слуху льнет,
покоя не дает.

И так до перекрестка
с затопленного острова –
из сада госпитального –
из уголочка дальнего –
цепляет и придерживает
погибшими надеждами
мотив совсем несложный,
за локоть осторожно ведет меня,
ведет, покоя не дает.

И столько он вмещает,
как будто утешает, щемит и уменьшает,
в детство возвращает.

И клюшки, костыли
стучат из-под земли.

Я прохожу здесь узнанный
давно нездешней музыкой
трофейного аккордеона

на улице Галактионова.

Безмерное – бестревожное

Плеск воды о борта.
Я на лодке качаюсь
и нескоро еще опечалюсь.
Облаков надо мной череда.
Наблюдаю кружение чаек.

Слабо звякает цепь.
Бестревожна округа.
Вон с обрыва отец вскинул руку:
дескать, ладненько все,
дескать, ты не волнуйся,
побалуйся, сынок, побалуйся...
Катит волны река
и темнеет лесок.

Где так будет потом?
где... потом?
Унесет и погубит поток.

Тишина и сиянье.
Плеск воды за бортом.
Глубины возгоранье...

Валуны, валуны.
Берега, пустыри.
Пуст обрыв. Пень торчит.
Задувает.
Низко туча стоит грозовая,
Обгоревшие перья зари.

Ночь соловьиная

Четвертый день,
привядший день,
знобит, морозит,
разламывает позвонки.
Не зацвели сережки на березе,
зато покрылись ржавчиной замки.

Мне в это время года
очень плохо.
А полстолетья нет. Поболее того.
– Прощай, отец!
– Прощай, мой сын!
Аукает эпоха
среди черных пней и сумрачных стогов.

Себя развеселю
да валит навзничь. Ищу опоры – право, не найду.
Вон соловей трепещет горлом на ночь.
Светлым-светло в моем саду.
Он в полночь как ударит, как ударит:
кого зовет, не все ль ему равно
стенать о ком в горячечном угаре

над травушкою робкой муравой.

Вся ночь
в какой-то знобкой перекличке,
с того ли края, с этого ль бери.
И мой к тому ж не обойден наличник.
Открыта форточка бессонно до зари.

– Прощай, мой сын!
– Прощай, отец!...
И соловей измаялся вконец.

Млеко

Было пасмурно, было жарко.
На крылечке я один.
Меднолицая татарка,
в обрамлении седин,
молоком меня поила.
Я оглядывал углы.
Поспевала трудно сила.
– Эч, улым. Эч, улым!*

Все вблизи – река и поле,
семь оврагов, небеса,
хлеб с присыпкой серой соли,
горизонта полоса.
День сморгну – и горн зальется.
Задрожит брюшко пчелы.
Солнце к лесу, я – за солнцем.
– Эч, улым. Эч, улым!

Утро – вечер завязались
день ко дню одним узлом.
Мог – с закрытыми глазами,
мог – с подломленным веслом,
мог – с лучиной и огарком...
Вот он я! – и пес на грудь.

Меднолицая татарка.
Мелом вычерченный путь.

Первый год послевоенный.
На коре глазок смолы.
Будь вовек благословенно:
Эч, улым! Эч, улым!

* * *

Кто подходил ко мне
и лицо освещал свечою?
Мать,
сестра...
«Дышу ли?»

Пламя скользило по векам,
комочком огня по крови текло,
озаря потемки, –
ласковый зверек желтоглазый
обнюхивал сердце.

Сколько так продолжалось,
не помню.
Забывал спросить, кто подходил ко мне
и лицо освещал свечою?
Не до этого было утром,
полыхающим снегом и солнцем.
Не до этого.
Для войны я еще не дорос,
хотя уже знал,
почем ее хлеб и свечи...

Но и сегодня,
спустя целую вечность,
я жду,
когда кто-то подойдет ко мне
ночью кромешной, морозной
с крадущейся свечкой...
И я окажусь вдруг там,
где непонятно кто
лицо мое освещает:
«Дышу ли?»

Я дышу. И пламя пугается вздоха —
гнется, перетекая за край темноты.

* * *

Далеко...
Как далёко я ушел
от порога отчего!
«Далеко ли?» —
эхо, как вздох среди ночи.
«Далеко ли ушел, сынок?
От кого? От себя?
И осилил?»
Кто задает мне вопрос?
В сердце стучится, как в дверь:
«Отопри!»
За руку словно берет
и уводит из чуждого мира
вещей и повадок,
из накопленных распрей,
сомнений,
от гнета раздумий уводит,
от шепотка оправданий.
К порогу отчему,
к порогу отчему
уводит беспрекословно.

И сию я один у печки.
Год который сию,
будто и лет не прибывало, —
тонкорукий сию,
неумелый,
малахольный,
сутулый с рожденья.

* * *

Во мраке ночи снег шумит, как стая птиц.

И я свое гнездо ощупал.
Свечою месяц облако коптит.
Я снова маленький – под ветхой шубой –
надежно защищен. И непонятный зверь
оставил шкуру мне для стражи.
Глаза острей сверкучих сверл
пронзают тьму. И черт теперь не страшен!

Приснилась, испугав, большая жизнь –
как я бежал! как падали деревья! –
а здесь слоистым снегом ночь лежит,
и мама за стеной под шум метельный дремлет.

Она не умерла. Отец мой жив, пока
завихрен снег, горбаты облака.
Мне ничего не стоит дух перевести
и темноту рукою отвесги –
а там и мать увидеть,
тень отца...
У жизни нет и не было конца.

Позвать? Но можно криком напугать.
Пока все тихо. Тихо все пока.
И – благодать!
А там – морозно, где остыла печь,
но приглушенная слышнее речь.

Я запахи ловлю, скребу ладошкой лоб:
«Какой же праздник утром?» – вспоминаю.
Чуть дребезжит холодное стекло.
И шкура мое сердце обнимает.

Так хорошо в тепле дыхание струить.
Все знать и позабыть, и ни о чем не ведать.
Быть маленьким, почти бессмертным быть
под темный шум слетающего снега.

И принимать всерьез свою игру, всерьез,
покуда свет не обнаружит щели...
Для взрослой жизни нету горше слез,
чем обмануться детской колыбелью.

Отец

Он старше с каждым днем.
И благородней.
Повиты тяжким сном
под снегом корни.
Я – об отце. О нем.

Куда ни кинь,
с веслом иль колесом
мы разговор ведем прилежно.
Но чаще я – с его лицом,
которое чуть брезжит.
Я – об отце. О нем.

Когда б не он,
и я б не ведал
могучей власти тьмы и света,
сердечных игр с огнем.
О корне жизни я. О нем.

Два сердца вдруг залепетали,
клубка два жарких...
Глядь, на перевале
мой сын стоит. И затихает гром.
О смысле жизни я. О нем.

Наш разговор все длится, длится.
И подле нас ютится
зверь и птица.
Я запою – он вторит мне ручьем.
Я об отце. О нем.

Твой голос

Каждая вещь
говорит голосом твоим,
к чему ни прикоснусь.
Как приговоренный,
хожу на веревочке голоса твоего.
Из первых уст
новости ошеломляют вкрадчиво:
«Сегодня
к тебе придет удача!
Сходи за почтой...»
И я сбегая по лестнице,
звения перилами,
к волшебному ящику.
«Не обманула? Видишь!
Теперь поскорее пей кофе
вприкуску с письмом...»
Заново мир узнаю.
Чем не Адам,
потерявший Еву
за какой-нибудь там горой.
Хоть тоннель пробивай кулаками,
не прокричишь дали.
А тут шепот преследует:
«Одичал. Душ прими.
И – за работу!»
Уже от двери:
«Телефон отключи,
Я ушла! И – надолго...»
Ты для того покинула меня,
чтоб я повсюду
на тебя натыкался,
воздух хватал,
изголодавшийся.
Головой так бьются о толпу.

* * *

Мыльная пена в тазу
пушиста, пузырьчата.
Я из прошлого легкий звук
еще ладошкой не вычерпал, не расплеснул.

Что-то млеет в груди
подобием розовой мякоти
в раковине. И бередит,
но не отблеском памяти
на вечернем стекле судьбы,
а россыпью соли на скатерти.

Повдоль дороги столбы...
Я – в пене. И руки матери
глядят меня, бегут
по шее, к плечам соскальзывают,
со всех сторон стерегут
светящимися пальцами...

Музыку ту пишу,
свет точки,
гнездящийся в линзе,
перелетающий шум
над бездорожием жизни.

О музыке

Учился я на скрипке, боже мой, и фортепьяно!
Все отняла война, неразбериха, –
цеплялась, как бурьян репьями...
На то и лихо,
изодранное горло криком.

Поди те годы по полешку разбери-ка
да уложи в поленницу, чтоб складно.
Не выйдет! Тут и тиф вмешается, и голод.
А между тем
скрипичный ключ затиснуть надо
сюда, в скрипучие ступеньки школы.

А в доме нету клавиш, нет – и точка!
Полегче скрипка – да сыщи попробуй...
И вот по всей по этой проволочке
я – неуч. Что ж, и слава богу,
не выдавился из своей породы.

Конечно так. И в общем-то без сожаленья
я отлучен от «вечного движенья»,
безумной мельтешни смычка и ног,
или того же бедного клавира.

Но... как бродяжка, затаясь, живет
на чердаке дворца, душа моя поет,
глухонемая, на задворках мира.

* * *

Травкою бугор оброс.
Бабочка летает, кувыркаясь.

«И лежит у меня на ладони, –
радиола поет, – незнакомая ваша рука...»
45-й. Незабвенный.
Клюшки. Костыли. Качалки.
Раненых укачивает песня.
И меня укачивает песня.

Посередке мира я,
как прутик обнаженный,
на колене,
срезанном войной.

Папиросные дымки витают.
Песенка охрипла.
Больше у меня отца не будет...
Больше у меня отца не будет...
Костыли и клюшки.
Клюшки. Костыли...
Заблудился я,
как песня над бугром,
посередке мира,
на колене,
срезанном войной.

Пришелец

Все сидит отец в кабинете,
вижу спину его покатую...
Позабыть бы картины мне эти,
освещение небогатое.

Допотопную эту обитель
позабыть бы на веки вечные.
Кто же память так избидел?
Косяки в ней и те увечные,
даже стекла и те померкшие,
нет зеркального звона чистого.

Прихожу сюда, как помешанный,
и молюсь, чтоб подольше выстоял
дом, пригнувший к земле колени,
дом, нахохленный, как ворона.
А в него – нельзя, не велели,
для другого здесь место укромно.

Мне запретно стучаться в двери,
а бывало – кидались сами
с визгом петель – веселые звери,
в каждой щели горя глазами.

Прямо в грудь ударяли лапами,
а теперь вот стоят неприступны:
мы тебя, малахольный, оплакали
и глядим поневоле насупясь.
Не ходил бы вокруг да около,
не заглядывал в мерзлые окна.

Тут у нас другие порядки,
а былое мы в подпол спрятали...

Все сидит отец в кабинете,
на меня не оборачивается.
Или я ступаю так вкрадчиво,
в зимних сумерках неприметен,
переросток, чужак, недотепа,
весь покрытый золой и пеплом.
На снегу достопамятно-белом
озаренна душа в потемках.
* * *

Я протягиваюсь взглядом
от матери старой
к матери молодой
за муравейники дней,
за дубравы лет
и вздрагиваю,
ужаленный током, —
от горба протягиваюсь
к спине подвижной и легкой,
к пламени крепдешина
от пледа смятого на коленях усохших,
Ножками внуков истоптано время —
поляна синейших колокольчиков,
блескучих стрекоз.
Через маму товарняки мчатся,
станции голосят,
война стволы валит на костыли,
а она плещется косынкой надежды с перрона,
уже истлевшей.
Немые рты из тьмы призывают.
Лица бескровны.
У прошлого нет крика,
только вздох переполненный.
Я понял,
уходят, чтоб возвращаться.
На то и жизнь —
след крыла на облаке,
дыхание на стекле,
уголек по крови.
«Одинока я, как луна...» —
шепчет.
А я повторяю:
«Одинока я, как луна
над сгоревшей деревней...»
От мамы пахло земляникой и хлебом,
даже зимой пахло душистым горошком.
Теперь пахнет темнотой и старостью.
Я страшусь часа ее ухода...
Возьмет гора и уйдет однажды,
обнажив даль.
Возьмет океан
и прольется в щели земных пустот.
Или лес упадет на колени,
ураганом приговоренный.
Или вытечет солнце,
как глаз вытекает...
Мать воронкой уходит,

а я остаюсь
угнездившимся корнем
на взметенном бугре.
«Посиди со мной. Все успеется.
Куда ты бежишь? От кого?»
Ветер вершины качает,
хруст и ломота по веткам, озноб.
Что ей каймак загустевший,
белоснежный творог,
чернослив блестящий...
Не откупиться,
не вымолвить чуда.
И я протягиваюсь взглядом
от матери старой к матери молодой,
трепещущей нитью протягиваюсь,
потому что все на свете
к своему началу бежит,
ища спасенья.

Путь

Как покорная мать,
власть детей принимает без стога,
ты, природа, нищаешь и шаришь корнями бездомно,
и косицы плетешь, привечаешь заблудших последним,
пока свет голубой на озерах совсем не ослепнет.
Больше меди в горсти, серебро расхватили сороки.
Шушуны, кисея... Волочится шлея по дороге.
Не кренится возок, разудало не вскрикнет гармошка.
Ты о чем затужила?
«Да о прошлом, касатик. О прошлом...»

Жарко топится печь. Опалило девичеством щеки.
Но румянец мне твой,
как рябины холодной ожоги.
А когда скрипнет ель,
ненароком к плечу припадая,
мне покажется, мать призывает: «Сынок, пропадаю...»
Что мне проку тогда от удачи хмельной, от застолья,
если где-то вдали очи старые съедены солью.
По оврагам хожу – не хозяин, а истинно грешник –
и меня утешает, как блудного сына, орешник.
Из ворот – пуповину порвав – я – из мамы
каждой клеткой – и горлом, и лбом, и глазами
вышел – ливнем меня закружило –
лес вздымался, мохнатые лапы пружиня...

Бор седой не рубил, не палил в глухариную песню, –
я поодаль прошел, сам чужак с почерневшею вестью.
Да, я видел усохшее тело реки, дол изрытый,
где деревни стоят, не деревни – оглохшие скиты.
Я поодаль прошел налегке, – заломило и смолкло, –
и, как рыба больная, плеснула о грудь мою Волга.
Не услышал я песни, той самой, за сердце берущей.
Был я в дольний простор, словно гиря,
глубоко опущен.
Не вздохнула округа, качнула замшелая пристань,
колокольчик Валдая забило космическим свистом.
Только мальчик смеялся

и с камня на камушек прыгал,
а потом его тенью тяжелая туча прикрыла...
Я спешил. Опоздал. Слишком люди темны у порога.
И – земля из-под ног.
И – душой одичало я вздрогнул...

.....

«Мама, прости меня...» – разве один я в ночи выдыхаю
слов запоздалых палящий, сиротский огонь.
Будто младенец опять. Будто бабочка близко
порхает.
Замерло время, устав от дорог и погонь.
Нежности сколько
непролитой в сердце скопилось –
где поскупился, а где закрутило щепой...
Мамы не стало. И грянуло вдруг, ослепило?
Не отогреешь щеки материнской
своей запывавшей щекой.

Вот и простились. Сошлись на мгновенье у края.
Дышит земля – только вскрой ее тихую грудь.
И, как свеча,
высоко, далеко догорает,
к небу поднявшись,
земной необласканный путь.

* * *

Холодно, мать.
Что ты ночью будить зачастила?
И молчишь, и глядишь...
Подмороженных глаз тонок слабый ледок.
Или в лунную ночь узелки вяжет чудная сила,
по дорогам разматывая лет шелестящий клубок, –

чтобы жизнь погребенная
не истребилась золою,
а вела по крови неустанную нить.
Дышит грудь. Дышит снег.
Подымается светом былое.
Вот пришла и глядишь... Ты умеешь молчанье хранить.

И все версты назад отлетают
ошметками сорванной кожи,
из кости вылезает кровавый отросток крыла.
Я о нем позабыл.
Я его раздавил в суете безоглядной, похоже.
И походка моя поступь твердую обрела.

А ведь маял, томил тот отросточек, высь обещая, –
жег и плавил, облитый небесным огнем.
Я о нем позабыл. Крики птиц надо мной обнищали.
Ты склонилась: как поздно я вспомнил о нем!

Поздно, мать. И во сне я давно откружил, не взлетаю.
Раскачала скворечню мугучая жердь.
Опояска по камню сквозит золотая –
обозначена числами темная твердь.
Жизнь была. Волос вился...
А тут только числа.
Ряд холодных, одетых буграми могил.

Что за притча: «...Пришел – полюбил – отлучился.
На устах и камнях свое имя забыл...»
Да. У жизни и там, за неведомым краем,
есть свое продолжение...
Пришла – и глядишь.
Здесь. Пока луч зари не взыграет,
будешь долго глядеть
сквозь обманную тишь.

Ночь кончается.
Лед твоих глаз истончился.
Мне б забыться, чтоб вечные воды текли,
цвел шиповник,
и было б до доньшка чисто
на концах и по кругу земли.

* * *

«Как она там, в земле?» –
детский вопрос неотвязный.
Снег поутру сомлел.
Следы увязли.

Каплет подробно с крыш.
Спинка скамьи проступила.
Надо бы боль скрыть:
«Простила... Не простила?»

И улыбаться всем, поскуливая в потемках,
через этот снег,
взблескивающий на стеклах,
через весны бедлам,
вскрытие, корни отвалов,
разгоревшиеся купола,
выбеги краснотала.

Всем улыбаться, всему,
что было ей знакомо –
соломкой и горсткой, и комом –
теперь пережить самому.

Мартовские прозрения

1

О мартовская ясность,
стеклянный блеск и звон!
Как хлопец, подпоясан
сияньем горизонт!
Рот до ушей у мира,
ликует и блажит.
А лед покуда смирен
по мостовым лежит.
Очнулась даль, качнулась –
ну, точно от стены
к подглазьям синим улиц
лучи наклонены –
вот-вот и ахнет плоскость
зеркальная о наст!

О, мартовские гости,
скорей, скорей до нас!
Через воздушный мостик –
без всяческих прикрас –
до наших душ... Из спячки
отяжелевших век,
как будто выпорх спички
в сиятельнейший снег –
глаза. Прекрасен холод!
Не холод, бодрый хлад,
сулящий свежий голод
и дерзость невпопад,
чтоб очертя ломиться
туда, где свет лишь брат –
и дереву, и птице,
а людям во сто крат.

2

И каждый год тебе я присягаю,
глаза стрижами в форточку сигают,
а там, за форткой – голубынь в снегу,
как заморозок первый по виску.
Идущий – счастлив, но летящий –
вдвойне, захлеб глотает жизнь.
А кто-то воз тяжелый тащит:
«Держись, товарищ мой, держись!»
Творящий – тащит... Март, безбожник,
ты бога грешного творишь:
ознобом пробежишь по коже,
под сердцем обнаружишь тишь
и холодок предощущенья
начала, может, и конца,
но как связать нам эти звенья
в портрет единого лица?
Люблю тебя! Так много света
обвалом рушишь на меня.
Твоя негнущаяся ветка
мне – обещанье песни дня.
Я запою – и тут же смолкну
и звуком тайным затаюсь.
Распев мой нежить только волку.
Я о простор гортанью бьюсь.
А звук протяжен, одинокий,
на воле дикой и пустой,
где все деревья одноноги
с непроживаемой сумой:
роняем – снова обретаем,
и кровь течет с нагих ветвей...

Март, дорогой, нас не предали?
Вей, легкий воздух, вей!
И обольщай, и святотатствуй
здоровьем пышущих снегов.
ВЧЕРА – прошло,
а НЫНЕ – здравствуй!
Как звон откинутых подков.

3

Цветку немного надо света
у бездны самой на краю –
под корнем матушка-планета.
Я – о цветенье говорю,
о том, что «поздно» или «рано»
совсем не значат ничего.
Раскрыть бы огненные раны –
и вот оно – мое чело!
Не нравится? Тем боле.
Расти – таков один закон,
и обойтись нельзя без боли.
Вся жизнь – приснившийся лишь сон
у бездны самой на краю...
Я – о цветенье говорю.

4

Где то, чего душа желала,
о грудь стуча в тяжелый час?
Что есть, того всегда нам мало.
Прошел, но вслед упрется глаз
чужой...
Зачем ему-то надо
читать все эти письма?

Какая бедная отрада
проведать высь, не зная дна?
Стучать ногами за спиною,
поклажи лет не разделив,
не видя раннею весною
какой по осени – налив?
О глаз слепой, следящий зраком
за непроявленной душой!
Тебе предмет явился знаком:
прошел тут конный иль пешой,
а, может, ветра дуновеньем
он обласкал случайный куст...
Прочесть ли жизни обновление,
кровь не стирая с бледных уст?
Когда по жердочке тончайшей
два мира я переходил,
о чем кричали на причале?
Я был над бездною един.
Ну вот – обронится лишь тело,
а душу все же донесу.
Так мне природа повелела:
тяжеле то, что на весу –
что по-над прошлым, настоящим,
грядущей сладостью мечты.
Глупец, я называю счастьем –
глядеть на поздние цветы.
И, бранный груз давно отринув,
луча соломинку познал,
и глушь задавленного крика,
когда вопит людской вокзал, –
а я сто лет уже приехал
и нет охоты уезжать...
Пускай ни эха, ни привета,

и ни обнять, и ни прижать...
Проведал праведною кровью.
Я не о чем-то речь веду,
зажатый думою воловьею
и ошарашен на свету...
ГЛЯДЯТ – ЖЕЛАНЬЕМ,
ВИДЯТ ЖЕ – ЛЮБОВЬЮ.
И бесполезен всякий суд,
пускай сдвигает он надбровья...
Я душу все же донесу.

5

И шум мне не мешает,
и лязг, и визг...
Годы обветшали,
но не прожита жизнь.
Бери, как хошь, – возами,
охапками тащи.
А высь – перед глазами,
а ветерок – с души.
Дано всего с избытком,
с лихвой напрозапас.
Восстало, что убито
в холодный жизни час.
И лед давно уж сколот,
и склоны потекли.
Я невозможно молод
для матери-земли.
Полвека за понюшку
крутого табака
отдал, как богу душу,
и опьянел слегка.
Передо мною – нива,
непечата межей.
Жить – значит быть счастливым
на земле большой.
Она дана с устатка на вечный посошок.
Не стлаться нам – остаться
на кресте дорог.

6

Пришел ко мне человек светлый,
словно капелька скатилась с ветки.
Ни о чем-то мы друг друга не спросили,
но как будто дерево сквозь камень проростили.
Вот и вся история о встрече,
а с тех пор дышать и думать легче
и прощать, конечно, легче во сто крат
тех обидчиков, какими свет богат, –
и когда метет и когда гнетет...
Новогодний снег и в марте идет.

7

Как изощренна и темна речь человечесь:
завоеет волком вдруг
и тут же хвостиком махнет овечьим,

Но клясть весь род людской —
нет тяжелее мести:
обнявший камень с ним утонет вместе.
Я слов любви сто лет уже не слышал.
Эй, друг, а у тебя-то их излишек,
так поделись со мной
хоть вздохом дальним эха
с того ли края, с этого ль обрыва века.

8

Тихо в моей обители,
тихо в моей судьбе...
Жаль, только вы не видели
ворона на столбе.
Жаль, никак не заметили,
жители — глаз к земле,
крапин каленых бежинок
на его крыле.
Черных еще да по черному —
где же тут углядеть...
Строгие, милые жители,
видеть надо уметь.
Не по-за пазухой черта
чуять клятым ребром,
а что над миром сечется
остреньким серебром...
Вот и крыло подломилось,
нежно к столбу прилегло.
Копится, копится сила,
тускло мерцает крыло.
Горло — под клювом опущенным:
только бы стон стерпеть.
Мнится — стрела уже пущена,
вот... и вошла на треть...
Хохолок столетний
подрагивает слегка:
«...где-то в запрошлом лете
видел такого стрелка...»
Смирно сидит, не тревожится.
Жизнь его не слышна...
Люди, а как вам может быть,
когда глубока тишина?
Когда по крови заката
перья судьбы скользят,
а вы — посередине сада —
глядите на этот сад?
Травы цветут обычные,
деревья стоят...
У ворона клюв вычернен,
мглою клубится взгляд:
«Сколько здесь проходило...
и эти, гляди, идут...»
Жить — необходимо.
Жить — непосильный труд...
Тихо в моей обители,
тихо в моей судьбе.
Жаль, только вы не видели
ворона на столбе.
Вот он вздохнул крылами,

вот и взлетел, взлетел,
над тощенькими долами
вовсе уж не у дел.

9

Руки на лист положил,
укрыл свои думы:
где мои ясени, где дубы?
Подлечился бы у воды,
у травы приласкался –
и до силы былой не просыпался б.
Так бы крепко заснул,
все грома бы мимо,
чтоб явилось во сне
что до корня любимо...
Но снега замели,
обметали, нагрудилась.
«Гей, откликнитесь где?
Где вы, люди?»
Чуть колыхнется свет.
Я укрыл свои думы.
Что ли на сердце ветры
прощанье надули,
просвистали насквозь
и дыханье замерзло,
поувязли в снегу
по колени березы.
И ничем не спастись –
ни обманом, ни солью,
а блудить, словно крик
по глухому раздолью,
с волчьим воем в груди,
с обездоленной ношей...
Это в нашей глуши
на убийство похоже.

10

Было много бед,
но один ответ:
и полягу я во тьму за свет,
потому как продирался,
а не стлался...
Малой свечечке был рад
у чугунных душ-оград.

Песня вечерняя

Час вечерний. Ртуть луны,
как чешуйка, липнет к черни.
Губы листьев солони.
Вечер жизни – час вечерний,

терпкий, свежий на излом.
Прислонился плечом к железу.
Голос выбежал из леса,
призадушенный узлом,

а ему навстречу – резкий
быстрым лезвием мелькнул.
Вспыхнул лик, припал к окну
удивленным оком фрески,
как бы поверху свечи...
И опять повсюду тихо.
Возле дома облепила
ягод желтый свет сочит.

Песня ходит в полудреме
по картофельной ботве,
так мотивчик, немудреный,
тяжелит прохладу век.

Стыдно слез и плакать стыдно.
А кого? И звук ушел.
Вспомнил мать и вспомнил сына,
как погладил теплый шелк,

как погладил бархат легкий,
детства куцый воротник...
Час вечерний, час глубокий,
Оглянулся – нет родни,

друга нет... Пуста округа.
Плыл мотивчик, да и смолк.
Жгут щепу у бревен сруба,
все тягучей запах смол.

* * *

В домах деревянных теплей жилось.
Шагнешь – и скрипнет земная ось,
не половица. Под окошком – жимолость.
И обязательно к вечеру гость.

Дни золотисты, как мед слоистый:
в каждой крупинке свой светляк.
Певучи двери, не двери – солисты!
Ночью слышно, как дышит земля,

дом легонько приподымая,
а то – опуская. И так я рос.
Откуда силенка?! Откуда ярость?!
Душа подрастала с печными дымами,
но собиралась крепенько в горсть.

В домах деревянных была человечность
по сообразности естества –
ну вот, прямо в форточку льется Млечный
и разговаривает листва.

А дальше было переселение –
душеповал, распыл, канитель...
Топляки всплывают во дни весенние –
это вижу теперь.

Дверь

За железной решеткой дверь была, была – резная:
а за нею дышит кто-то, я – всевидящий, я знаю.
Мой умишко свеж и ясен, как невытоптаный снег:
подросту и распознаю, дверь мне явится во сне...

Сколько их открыл, а эту – никогда не отомкну.
Узелки есть, узелочки – не распутать никому.
Мир устроен сокровенно, возвращенье в нем живет.
Ухожу все дальше, дальше от заржавленных ворот,
от двери той, но куда бы за сто верст ни уходил:
вот она! снежок струится! я опять пред ней один!
допотопный, в душегрейке! наследили-то кругом!
Так уж время громко мчится – век железный! – кувырком!

А в моем умишке тихо: дверь на месте, цел замок.
До чего же хитроумно завязался узелок.

Время черного валенка

...Валенки, валенки,
не подшиты, стареньки!..

Отец мой был футуристом,
тонколицым и хрупким,
как первый ледок предзимья.
Женщины от него, так говорят,
были в восторге:
– Футурист, и такой нежный!
Презирает валенки,
мерзнет в ботиночках.

Дружил с актрисами.
Это всегда обязательно –
поэту попадаться на удочку
лицедейке,
хоть один раз в жизни.
Не иначе, как Бог придумал
капканчик для лунатиков
слабохарактерных.

Вот на фотографии дед в опорках
сидит на лавочке и смеется,
блаженный, на солнышке:
нет, пахать он не хочет –
будет катать валенки!
Фабрикант деревенский –
почти футурист!
«...ногам положено быть в тепле,
и душа сохраннее...»

Отец унаследовал смех в нищете.
«Родственных чувств не имею», –
учили писать в анкете.
И писали!

А отец мыл своего отца,
раскулаченного,
в городской бане прилюдно.

Футурист хлестал футуриста мочалкой,
и оба от всей души хохотали:
« – Это тебе за валенки!
– Пусть замерзают теперь в лаптях!
Кара урман, сынок.
Заглянул в Черный валенок!
Скоро уже ночь... вечная...»
И вскрылась земля для деда,
как полагается:
не заглядывай в Черный валенок!

Тут и отца поволокли в каталажку
показывать небо в клетку.
Начиналось время Черного валенка.

Зимние сумерки

Мать надевала белую шапочку
и превращалась в доктора.
Уходила в снег.

Темнеет рано,
светает поздно.

Стены обступали,
тесно было дышать.

Топилась печь.
Как живая, рыжая.
Голова смеялась на полу:
схвачу, укушу!

Потолок опускался,
придавливал.

Я стучал ложкой о тарелку –
получалась музыка.
Ложился спать –
вечность текла под веками.
Дом шатался, как пьяный...

Мать возвращалась
в крошечной тьме.
Белая бабочка
прилетала на огонь коптилки.

И стены становились на место.
И потолок взлетал.

Половицы поскрипывали сухариками.

Круги

Могила отца – на чужбине,
матери – в Самосырово.

Ох, и напуржило!
Ох, и замесило!
Я хожу кругами
с думой разлученья.
Машу крылами
до умопомраченья.
Не переаукнуться.
Сон утомонит.
Ветки мерзло гнутся.
В небесах огни.

Словно кто-то кличет,
а отзыва нет.
И хоть плачь, обычный
зимний свет в окне.

Лед. И долог, долог
возвращенья путь
по оврагам, долам,
чтобы пасть на грудь матери,
отца ли, сроду не понять, —
как могильный камень
ввек не приподнять.

Двор

В нашем дворе старом
будто золото варилось.
«День прошел — и хорошо!» —
так говорилось.

Переплеты, лесенки,
дух древесный печек,
воровские песенки
фраеров беспечных.

Бедное все, ветхое,
но свое до прутика.
Ночь — светлынь под веками:
завтра глянем, будет как.
Возвращались воины:
«Ждали — и дождались!»
Женщины, как волны,
на грудь кидались.

Да нельзя, чтоб поровну:
да, в ином окне
тишина покровом
при свечном огне...
Где же мое, кровное?
Куда подевалось?
Ржавую подковою
кому досталось?

Живу не в хоромах,
в углах зажат,
Никого кроме —

сторожа сторожат.
Смерть тайком торопят.
И тишком – снесут.
Грешный в мире робок.
Что им Божий суд?!

А бывало, во дворе
будто золото варилось.
«День прошел – и хорошо!» –
так говорилось.

Линь

Линей несли с Кабана дальнего
и в воздухе висело: Линь!
Домов окраинных окалина.
Звук пахнет, как полынь.

Я на линей в чужих руках косился:
Сгубили рыбин! Ишь! Мне наплевать!
Язык болтал, а чешуя – в косицах,
а плавники гребут по ситцу...
В дому качалась лодкою кровать.

Я плыл во сне, до утра плыл. И воды
меня ласкали. И звучало: Линь!
Сон задыхался, разлепляя годы.
Луна мотнулась с облака в залив.

А было нажито
всего-то лишь с наперсток.
Чего терять? Да нечего терять!
Подросток я, еще не переросток.
«Что значит. – Линь? –
меня спросила мать. –
Во сне кричал. Нет, вскрикивал,
как плакал...»

Дышали жабры – я входил в кусты.

Огромный мир стоял на крепких лапах.
Чешуйками дождя секлись сады.

Линь! Линь! – часы пропели
в полдень.
Линь! Линь! – продлило звон стекло.
Я целый день ходил и пел.
Был голоден.
Но сердце в ступе золото толкло.

* * *

А время метит вскользь, исподтишка,
штришок к штришку кладет,
узор к узору.
О тайном знает темная душа,

непостижима для чужого взора,
глубокого, небесного. Никак
прочтению ума не поддается.
Она-то ведаёт наверняка,
какой уродец нежилась под солнцем,
какой смутьян метался по холмам, —
и собирает мед в глухие соты.
Что мед? — да всякий тлен и хлам,
дыханье, всплеск, глоток свободы.
Все в Книгу дней занесено,
в колодезь памяти опущено, сокрыто
и замкнуто на крепенький замок...

Но ветер пьёт свободу с крыльев.
И — коршун в небе,
соловей — в саду,
а ворон — на столбе,
в пути — скиталец.
Ощупывают ветви высоту.
Спят искры пламени в металле.

* * *

Цветы, цветы с утра до темноты,
от досточки крыльца к горбу пригорка,—
отбились, убежав от суеты,
и пахнут сладостно, и пахнут горько:
дым можжевельника, жасмина куст,
застенчивый вьюнок, к стене прильнувший,
парнишка клен, еще совсем безус,
как я когда-то в памяти мелькнувший,
желток ромашки, флоксов пенный вал,
персидский мак, как царственная чаша,
и незабудок влажных синева,
до крыши хмель, свободою горчащий...
В них дочь с головкой скрылась, как в лесу.
Пчела гудит и ветерок качает.
И паутина тлеет на весу.
И пес в тени заброшенно скучает.

Ах, жизнь бы здесь мне сызнова начать,
и чтоб была, как небо, без пометки,
с пугливым шорохом и призраком в ночах...
Глаза открыл — а на столе подарки!
Отец и мать — а за спиной цветы!
Их вместе я не видел сроду
ни у берез, ни у речной воды,
ни в снежный день, ни в тихую погоду.
Чтоб старший брат... Конечно, старший брат
был у меня, кудрявый и суровый!
О, в новой жизни я, с лихвой богат,
одни бы только праздновал обновы...

Но не примерить легкую мечту,
скользнула и пропала за калиткой,
а я за ней — со свечкой на свету —
еще тянусь и взглядом, и улыбкой.
А дочь уже выходит из цветов,

с пыльцою в волосах ко мне выходит.
День так хорош, богаче всяких снов,
с подсветкой алою на небосводе.

Я ничего не позабыл

*В день рожденья Анны – девочки
из мира других измерений.*

1

Как трудно это одолеть:
встая в жизнь
все глубже, глубже,
когда пурга в груди погуживает,
себя прошедшего жалеть
над зеркалом весенней лужи...

Меж тем вот руки на столе
лежат, прилежные для службы,
а прежде
ты не знал, куда их деть –
на струны опустить или на плечи,
и перышки по одному терял, –
лежат, холодные,
неужто стали легче,
воздушное в покоях января...

Но помнят первое прикосновенье,
то самое – летучий, быстрый ток,
неповторимое мгновенье,
хотя и прошумел поток,
и ласточка не в наши сени, –
а струи все летят, летят! –
ты сам, как темная ладья,
в объятьях брызг, в водовороте,
не знаешь, как перебороть их,
однако выпрямляешь взгляд
до края...
где вздох, должно быть,
сладостен и краток,
зато всем телом, корневищем жил.
Так трепещи, непрошенная радость,
Я на пределе эту жизнь прожил!

А снег еще кружит, кружит
тебя, как пчельник, заселяя,
под сердцем веткою дрожит,
на мятежи благословляет.

2

Тот дом меня проглатывал,
как руку варежка.
Я лестницу перелетал!
Теперь не та верста, не те лета.

И нет уж лесенки-чудесенки,
ступени есть, всходящая гряда
унылой серости.

И девочки в помине нет.

Как время беспощадно
к желанной хрупкости примет!
Чужой! Глаз искоса ухватит
скользящий взбег глухого платья...
Но гром давненько прогремел,
сносилась прелесть ситца,
нет в колчане каленых стрел...
О чем стучит в стекло синица?
Я прилетела! Сбрось свой груз!
Сходи на первое свиданье.
Прими на посошок –
полегче станет!
В морозы хороша с ожогом грусть!

Я ничего не позабыл.
Живу на вечном переломе –
суровым мальчиком
в погибшем доме
и стариком
на медленном пароме,
узлом скрепился их союз
земною и небесной силой уз.
Их можно вмиг местами поменять,
вот только занавес поднять
струящегося снега...
И яблоко в ладонь уронит небо.

3

В ладони лицо окунул.
Так всплывают в луну,
погружаются, тонут...
(Все-то ближе к дому
родному,
там согреют, не проклянут!)

Усадила за стол.
Мед и чай – угощенье.
Запах смол.
И – прощенье.

Плавит золото печь.
Никакой укоризны.
Бессловесная речь
Выше жизни.

– Я пришел.
– Ты пришел!
Мы просушим одежду.
– Мне с тобой хорошо.
– Я хранила надежду...

Не сказалось то вслух.
Затомилось.
Как томится в лесу
Полуночная сила –
вздых и хруст, шепоток,
полулепет, угроза

и связующий ток.
Запоздалые слезы,
пней глубокий распад,
вечный гул сердцевины,
голоса-паруса
под опекой невинной...

Будет шорох огня.
Примолкшие двери.
На песке, на камнях
птичьи перья...

Что? Откуда? Зачем?
Непричастному знать ли.
Лишь мерцанье очей,
ворот слабого платья.

Две жизни

...И осталась земля их укрыть.
Трава узелки завязала.
Нежные волокна коры
взошли над глазами.

Земля отдавала дыхание, цвела,
зренья полна и слуха.
Гармонь играла на краю села.
В садах яблоко оземь стучало.

Две жизни следили одна за другой.
Порознь. Не окликаая...
И такой был лад, такой покой
простора под облаками.

Осень 45-го

...Всплывают шинельки,
косые пилотки.
Дома вдоль улицы –
перевернутые лодки.
И – теплынь, какой не бывает.
Только время, как вода, убывает.

О счастье думает темный, глупый,
а тут под гармонику пляшут губы,
жилка выстреливает пружиной...
Чем эта даль приворожила?

Вблизи – немота,
но все движется, движется,
ягодой рябины на нитку нижется.
Сестра в бусах, да глядит невесело:
полоску крови на шею повесила.

Город, как пристань,
деревом сохнет –

стоят вдовы, жмутся снохи,
невесты обочь куда-то сигают...
Осень, гляди, струит какая!

Я вроде лишний, один в середке.
Еще вот бусы на шее сестренки.
Мы не дождались.
Но втайне, втайне...
Как рано нынче цветы повяли!

Руки над огнем холодны,
слова до корочки солони,
свет по горлу гуляет пьяный,
а в волосах завяз репьями –
царапает, жжется, не выдирается...
Но зато как глухо, черно за сараями
в одиночку, с затиснутым ртом.
Тишь кругом.

Земля течет, как река большая.
И я теку, а за мной – лишайник,
щепа, коренья, воронки всюду...
Да разве это я позабуду!

Тишь такая – на тыщу лет –
сквозит занозами из щелей
век непрожитый, век неприкаянный,
прямо в душу намертво впаянный –
не продохнуть и на миг короткий...
Всплывают шинельки,
косые пилотки...

* * *

На ржавом железе мороза соль.
Луч бьет в щель.
Вытекла радость слезой,
оживила лица вещей,

отошедших в мир иной.
Не стоит труда –
выпрямиться порванной струной
между «нет» и «да».

Лечь мостом, собой пренебречь.
Спокойна пыль.
Колыбельна всякая речь,
если она – быль.

Дикая женщина тем права,
что не помнит границ.
Разговаривает трава,
выбрасывая птиц.

Давнюю протоку вброд перейду,
как закатаю рукав.
Пляшет куст на берегу

от ягод кровав.

Подкидыш

Памяти Г.Капанова

И суета сойдет на нет.
Тщета за дверь полу утащит.
Все станет явным – тень и свет,
но лишь живой – был настоящим.

То гневом неба освещен,
то в поле найден, как подкидыш.
О чем кричал он там? О чем?
Кому высказывал обиды?

Сидел, сам старец, на пеньке:
спиной – к садам,
лицом – к закату.
Смеялось яблоко в руке,
как жизни вечная загадка...

И вот ушел, оставив нам
осенний гром в долинах слушать
да свет прощального вина
и звон по наши души.

Холодный профиль на стене,
уже отрезанный от боли,
еще приемлемый вполне.
Не звук,
а вздох, пропавший в поле.

Заклинание

Запою и услышу.
Потянусь за услadoю звука
покорно
эхом равнины,
унесенным в пустыню, –
гулкая раковина.
Всех узнаю в лицо,
обтекая прозрачно
каплями янтаря поющими,
оставляя звучать сердце.

Старухи

Затолкали меня старухи
в небывалом на звоны селе –
и стогубы они, и сторуки,
перепачканы щеки в золе.

Все пытали, за плечи хватали,
отчужденною речь их была.
Что шумит, что бежит –
не вода ли?
Не за пазухой ли перепела?

Я оглядывал жадно окрестность,
обновлением жили глаза.
Пыль, взметенная пьяно и резво,
по дороге катилась в леса.

Ну о чем вы, о чем вы, старухи?
Не понятен пришельцу язык.
Разветвились корявые руки,
развязались на горле узлы.

«Понимай! –
говорили морщины. –
Дознавайся! – И космы лились.
Пальцы воздух осенний лушили. –
Где посмертная деется жизнь?!»
И одна неотвязная дума
с той поры угнездилась во мне...
А старух ветерком, что ли, сдуло,
разметало по гиблой стерне.

Как и не было и не бывало.
А мой слух каждый всплеск
сторожит.
Только солнце опустится ало:
«Где посмертная деется жизнь?»

* * *

Живот земли изодранный опал
и сморщился,
ошметками распалась кожа.
Акация цвела.
Берез плескалась рощица.
Ласкался глаз.
Поскольку жизнь пригожа

была. На взлобке я стоял,
веселый, справный,
хоть куда парнишка!
И щебет не стихал в кустах...
Ни дна теперь и ни покрышки!

Бетон вокруг угрюмой массой лег.
Как стойбище слонов, остывший город.
Мое – прошло.
Я сам прошел.
Здесь – лед.
А дым отечества все горек,

но не печной, не с утлого костра,

а с пепелищ,
с кладбищенских развалов...
Свечу последнюю зажги, сестра.
И выпьем, коль сюда призвали.

Не последняя

Дай-то бог, не последняя,
по гортани текущая...
Поперхнулся, закашлялся –
набродился багряными кущами.
Сам, как рублик
на свет из загашника,
заявился, чтобы потратиться,
хоть и радость в большой цене.
А вокруг-то кленовая братица
кружит, пьяненькая, в огне...

Я люблю перевертыши осени –
улетающие деревца
в бедной мороси
и дымок увяданья с лица
милой женщины. Тень пригорблена.
Дней гербарий лежит вблизи.

Чудный пес над пригорками,
уши вскинув, скользит
королевскими махами пуделя...

Выпадают такие деньки,
когда веет и синью, и удалью
на пружинистые пеньки
лет, потерянных
в дальней бестолочи...

«Зябко?»
«Зябко...» Пылает печь
рощи. Звонящей мелочью
пересыпалась чья-то речь
за стволами, как померещилась.
На воде – весь в чешуйках –
блеск.

Жизнь желанна до малой трещинки
на спирали ржавых колец.

И к лицу тебе плащ змеящийся,
шарф отброшенный, горла свет.
Мы уходим по восходящей
тропке, высушенной в листе,
навсегда. Сквозняками пряди
разметало, кинув назад.
Не последним огнем листопадит,
осень оком ведет из засад.

Скоро бросит вперед кавалерию –
цокот, клекот и сабелек сверх...
А потом уж – задышит севером

и штриховкой наклонится снег.

Вода

Я выпрямляю жизнь свою,
срываю кожу, а она
мне в руки не дается —
ломает чистую струю,
вздымает муть с глухого дна,
по воле вьется.

А то совсем едва ползет,
обгладывая корни,
мрак одолевая,
и веет холодом с высот,
и непокорней
пустынь полевая,

чересполосица, бурьян,
застой овражный, омертвельный,
где даже пень столетний пьян
и страшен под луной
в горячке белой.

Молюсь на горемычный труд.
Сомненья, стыд...
То лед, то слякоть.
Грудь разломить
о мощь земных запруд,
но — литься, погибать и плакать.

* * *

Приходят, садятся,
беседу вяжут старательно.
По окнам вьюги зайцы.
Самовар на скатерти,

зеркальный, разноглазый.
Собрались помянуть,
из чистоты согласия
измерить долгий путь.

Пергамент лиц потрескан,
разжижены глаза.
Глядят смиренно бесы
на эти образа,

на слабые одежды,
на вспорхи редких слов.
Сошлись из мира беженцы —
и двери на засов.

Пред богом — погорельцы:
испробуют еду,
по стопочке — согреться,

и в темь, как сон, уйдут.

К другим, должно, поминкам
по круговой стезе.
Российская глубинка
пригорблена в тоске.

Где упадешь, кто скажет.
Да виден на тропе!
Невелика пропажа...
Чего еще тебе?

Осенние игры

О, милая девушка, как ты свежа,
мимолетна, прекрасна!
Цвет белый ложится, смущаясь,
ложится на красный,
а руки плывут продолжением
флейты и лиры,
разинувши рты,
глядят потрясенные дыры
изгибу вослед, пыль снимается с окон,
где твой взгляд пробежал,
ресницей махнув ненароком.
Ты проходишь
и будто мне все указуешь:
ах, подите вы прочь,
разрази вас Везувий!
Ну а я-то совсем
так простецки дышу,
я – влюбился,
как шарик воздушный
за острый гвоздок зацепился,
за платьем спешу
и ловлю дуновенье...
Простите мне глупое это мгновенье!
Люби кого хочешь!
Но я же поймал не напрасно:
цвет белый ложится, смущаясь,
ложится на красный,
а серый сторонкой метет,
прижимается к бровке,
ласточкой быстрой –
два крылышка –
вскинуты брови,
зеленый крадется, лопочет,
ладошки открыты,
багровый уткнулся
в разбитое оземь корыто,
но тени, как проруби,
веют весной под глазами...
О, улицы длинные,
тайные иносказанья,
гекзаметры с придыхом –
в гору и с горки до среза,
там алый восстал,

обливаясь слезами,
из крови железа –
провинциальное солнце, детеныш,
как горло младенца из смога,
церквушка белеет
и туча грозою намокла...
Проходишь – уходишь –
в толпе пропадаешь.
Ну вот и сомкнулся,
последний разгладился краешек.
А звук еще тает.
А блик ускользящий дразнит:
цвет белый ложится, смущаясь,
ложится на красный.

О земном, небесном — О безднах

* * *

Этажерка в головках резных.
Вот-вот упадет, распадется.
Не солнце,
а снег из окна ее поддержит.
Устоит... Устояла!
А времечко дальше
на лапках кошачьих крадется, –
и поспешно (излишне поспешно!)
разбрасывает, рвет.
полинялые в ранах одежды.
Свечка старчески плачет,
рот кривит:
«...Ну, хватит! довольно!»...
Мне б хоть малый кусочек
оттуда,
до крошки прогретую дольку.
Тень кружится,
распрямляет взлетевшую
спину...
Я из кресла слежу без ужаса
за романтическим мальчиком...
Вот какую большую жизнь
прошагали,
помаячили,
что нет между нами несогласия
и совершенно никакой опасности
и безвластья...
Почему-то я вижу
на коленях Рембрандта
беспечного
не смеющуюся Саскию...
Ослепительная,
рыже-каштановая,
моя тысячу лет назад погибшая
собака
скачет ко мне
огромными махами,
ко мне – через поле...

Но, как ни странно,
мы неумолимо удаляемся
друг от друга,
как два призрака
в осеннем пространстве
ничем не омраченного неба...
И точно я и отец
следим за ней
в просторе жизни.

* * *

Пообвыкся с расставаньем.
О разлуках стоит ли говорить...
На ночь окна б растворить.
Мгла нарезана пластами.

Свет я лишний не зажгу,
в темный угол не зароюсь.
Что с того, кого-то жду.
Блик луны плывет по крови.

Час придет — и солнца луч
явится. Не тороплю я.
Хруст крыла совы мой ловит слух
вот уж ночь вторую,
ночь вторую.

Долина

Когда б вы видели мою долину
и неспавшийся рассвет,
синицы клюв,
мгновение прилета.
Я миновал пенек, — и не присел...
Долина без ног-рук,
протянутая ровно
божественная длань.
Пространство голубых разлук.
Кому какая дань?
Молитва в воздухе
на языке невнятном
прозрачная,
как образ прошлых лет.
Жить дальше —
надо иль не надо?
Крылат ответ.
Мелькнул — и нет.

Миг

Мало взял я у земли для неба,
Больше взял я неба для земли.

Арсений Тарковский

Выпадает такое затишье —
не качнется тростинка,
замрет стебелек.
Точно движется гладко
пластинка
над раскинутой землей.
Капля смотрит —
и зраком не дрогнет.
Беспредельный пригляд на всем.
время сыплется теплым овсом,
до зеркальности вытерты окна...
Показалось,
меня вовсе и нету,
унесла и забыла оса
между крыльев прямехонько
в небо,
а оставила — только глаза...
Синь незыблема.
Всюду пустынно.
Неколышима нить паутин.
— Ты простила меня?
— Я? Простила...
И спокойная даль пути.
Я спустился к воде.
Звуки смолкли.
Сухо в лодке,
как в легком гнезде.
Серебрится поверхность Волги.
А дыхание — везде и нигде.
Ради этого сладкого мига
и живу я, быть может, —
и ты! —
в самом сердце огромного мира,
на песке осыпая следы.

Корова

Моя встреча с коровой
была неизбежна.
Я погладил тяжелый лоб,
заглянул ей в глаза,
в посиневшую бездну,
и в меня дно послушно перетекло,
вместе с запахом трав
перебродивших.
Я один, не один...
Фиолетовый воздух — стекло.
Взгляд коровы глубок
из укрытия ниши.
За воротами дремлет село,
погружается в сон,
лунно, близко...
Молоко на веранде я пью
из утробы колодца жизни.
Знаю я, где живу, что люблю.

Дул ветер, дул

Дул ветер, дул,
да не разгонял
угрюмых дум.
Тяжелело облако и туча,
обещая поднебесью взбучку,
а костям ломоту, хруст, томленье, —
подгибались, рушились колени...
Бедность, наважденья не пугали,
обступали мрачными углами...
Вышел на холмы — и распахнулся.
Поезд верещал,
как позвоночник, гнулся,
распрямялся мелодичным гулом...
Ветер дул, шарами детства дуло
и разметывало горизонт,
как полукружье.
После сна себя
так обнаруживают,
обретают, узнавая в прежнем,
словно море видя с побережья...
Крепкий чай я дома заварил.
Вот — перо, вот — лист —
сам с собою я заговорил,
как младенец, ясно и впервые...
Ветры дули,
разъяренно выли, выли.
Я не слышал,
как трещала кровля,
будто вправду я писал
не чернилами, а — кровью,
вытекая сильною рекою.

* * *

Жизнь здоровая, чужая,
банькой пахнувшая, угольком...
Душу, что ли, в горсть ужали?
Полегчало — отлегло.
Обогрелся, ну и ладно,
опахнул лицо теплом.
С поля прибредает стадо,
стукнул бык в калитку лбом.
Полегчало — отлегло.
Обойду святую радость.
Вон скамья моя стоит,
не видна за ней ограда.
Всякий долей своей сыт.

Чудо

Я заснул в мягкой пазухе поля
на сене.
Не услышал — кони ко мне
сошлись,
задышали теплом на лицо,
на колени,
укрывали бегущие тени,
беззвучные тени

притомленную радостью жизнь.
Понимал ли,
что гривы пересыпаю,
в сушь волос зарываюсь рукой,
и на краешке облака
глубже, глубже все засыпаю...
Так спит ласточка над рекой,
а сама продолжает полет,
кувыркаясь...
Надо мной только
синь и покой...
Было? Было!
Проснулся, очнулся.
Табунок ходит где-то вдали.
Что случилось?
Ко мне наклонилось чудо
на глазах изумленной земли...
А потом береговушки
обсыпали со всех сторон.
Плыл я в лодке —
и слушал, и слушал
нитью в небо влекущийся звон.

Блики женщины

К смерти никогда не опоздать.
Не глашатай я,
такой же смертный.
И на шее стянута узда.
Сердца звуки мерней, мерней.
Вытянулись в струнку поезда
на заре ли ранней иль вечерней.
Катятся прожитые года
между серебром и чернью.
А блескучая не меркнет грань,
призывает, исподволь волнует...
Женщина — конечно, из ребра,
а поболе — вся из новолунья.
Прегрешением ее не укорить.
Может, даже страшно и преступно.
Из березовой она коры.
Стукнет в дверь —
и приоткроет утро.
Ночь не надо вовсе раскрывать,
трещины замажет бликом.
Поплывут земные острова
над преображенным ликом.

Схлёсты

Люблю я схлёсты, перехлёсты,
от колыбели до погоста
все вытерпевшие слезы,
когда уже в земле на треть...
Как поглядеть в ушко —

и нитку вдеть.
Из мрака,
стужи
взгляд чуть движим,
повсюду зыблемая жуть.
Что в ней,
что сквозь нее я вижу?
Но я туда так пристально гляжу,
клонясь главою ниже, ниже...
Что, в беспросветной, нахожу?
Зачем люблю?
Как ненавижу?
Да как понять, чем дорожу?
Слова-колосья раздвигаю,
а васильки,
те все ко мне!
...Вот так-то золотая,
дорогая,
жизнь теплится на дне.

Смолы слеза

Ну что ж, пора и мне сходить,
домчался поезд, не домчался,
спешите, горе-домочадцы...
От гонки рельсам не остыть,
не расплести травы мочала.
В просторе сердце одичало.
Кромешна боль, бессмыслен стыд.
Простерта под ногой ступенька.
Визжат на взлете тормоза.
Покрыты инеем глаза...
Куда, куда хотел поспеть я?
Знать, не для шапки этой Сенька...
Оглядываться поздно – и нельзя.
Из солнца вытекла смолы слеза.

Проза

Взвивалась пыль,
но было безмятежно,
безмолвно даже.
Земляника млела.
И лютики, конечно,
золотились те же.
А нынче яблони струят несмело,
Столб телеграфный
выглядит калеккой.
Прошедшее поблекло,
жалко и нелепо.
Где сад толпился, сад заброшенный,
в бетон одетый, гость стоит,
негаданный, непрошенный,
в соседстве с сельской
кладбища матрешкой...
На половинки две

и мы с тобой разрезаны
Наглеющим день ото дня
железом...
Пошли бы до Теньков,
до Гребеней,
да это так далёко,
в неимоверной глубине,
мерещится и чудится,
прогнулись тоненькие удилица
под тяжестью линей.
Сказала ты: – Вон стоит береза.
Ржавая. Какая проза!
Печали не было больней.

* * *

В беспросветности,
в бесприютности
озаряется старость юностью.
И хватает того огонька,
серебристого мотылька,
для согбенного старика.

Слеза

Потеря для меня бессмертна.
Слеза застряла между век.
И я несу ту роковую «метку»,
непозабывший человек.

Слезу не оброню случайно,
необроненной сохраню.
Быть может,
улыбнусь необычайно,
к земле свой стебель наклоню...

О многом умолчал.
Слеза безмерна,
бездонна, мой покрыва взгляд.
А если вытечет... Измена!
Не верьте слову невпопад.

Ночь перед Пасхой

Собака всю ночь волновалась,
охрипла, терзаясь о ком?
Ее не сморила усталость.
Катилась луна кувырком
по мглистым, истерзанным тучам,
как мысли мои – никуда,
никчемные, с кручи на кручу,
ни свет, ни слеза, ни вода.
Цепь долго, свиваясь, гремела.
Природа была скупа,

подрагивала несмело
улыбочка на губах,
с иронией неуместной
над незацветшим кустом...
Заране все было известно —
оставлена жизнь на «потом»,
во тьму отодвинута полога...
И только собачий взвизг
висел ненадежно, недолго,
ложился карниз на карниз.

* * *

Страшусь похмельного ненастья,
о смерти позабыл давно.
А Рабига стоит
в обнимку с Настей,
увы, другого не дано.
Дарует радио мне избавленье:
аптека — Настя — Рабига...
Дремлю в обманном
сладком плене,
качаю веточки-рога.
Вы что,
не видели оленя?
Панты? — Те срезаны ножом...
Не преклоню усталые колени.
Костры мои, «ужо, ужо!!»
Головки нежно прислонились,
прощайте, Настя, Рабига,
вы, право,
обе мне приснились,
но каждая отдельно дорога.

Ноченька

Говорю я ласково,
не пророчествую:
ой ты, ночь моя, ночка-ноченька,
мои лавры и ржавые почести, —
Ты — и мачеха,
ты — и доченька,
темнотою тепло обволакивающая,
никого не любившая плакальщица!
Утро ль ты,
благосклонный ли полдень,
на груди моей черный орден...
Потому говорю с тобой
тихо-ласково,
не с острасткою, не с опаскою:
ты ведь любишь меня
и голубишь,
под своею ладонью губишь.
Мне бы в рай,
а ворота замкнуты.
Ветер дует с востока и с запада.
Ты подходишь,

ты гладишь волосы
и поешь – до, ре, ми, фа, соль, ля, си...

Волна

Поднялась и встала на дыбы,
вытянула гладко выю.
А за ней – валы, гробы, гробы,
черти из утробы взвыли.
Грудь вздохнула, точно обмерла,
смерклась и в себя ужалась...
Я стихию слушал. Даль стекла
гнулась, не ломалась.
Подступала к горлу жалость,
а к чему, зачем?..
Я внове жил,
не скорбел,
ничем был не унижен
и не рвал удил, захлесты жил.
Смерть – все дальше,
жизнь – все ближе, ближе...
Море, я молитву сотворю,
с колыбели знаемую звуком.
За стихию тихо
я тебя благодарю.
О грядущем знать-то мне
откуда?
Паучок о лоб беззлобно стукнул.

* * *

Я опять приду
всенепременно к чуду!
Полегонечку ушла волна,
та, которая вдруг сокрушалась.
Ясно все, всевластна тишина.
До приюта мне дойти осталось.

* * *

Как за соломинку, за паутинку,
тянусь за словом
в потемках утра.
Тишина шуршит пластинкой.
Я вспоминаю – снились перламутры,
к чему бы вдруг,
я просыпался, озираясь хмуро,
чужой был сам себе.
И тяжело, и понуро
пил воду мелкими глотками.
Давил на грудь надгробья
камень...
Откуда взялся-то
под жиденькими облаками?
Нарочно не придумает такое!

Слезу стер с века слабою рукою.
Маленько поживу еще
и доношу судьбины шкуру!
Кому и произнес?
Но так казалось
в поднимающуюся бурю.

* * *

А все-таки желанье жить всесильно!
Обрадоваться,
пробежаться бы...
Подламываются ноги.
Головы фонарь раскачивается,
вот-вот погаснет.
Но исцеление мерещится.
Призыв издалека сосны
на взгорье.
Бледен горизонт.
Матери рука погладила
заботой из могилы...
Цветы забыл ей подарить,
такая жалость
прищемила горло.
Не успел однако.
Куда спешил?
Стыд гложет, изнуряет.
Сбежались лютики, полынь ветвится.
До бесконечности обида.
Музыка водичкой плещется.
Мелодия так хороша,
что плакать хочется.
Поет татарка,
вздыхает осторожно.

Дуб

«Мы ржавые листья на ржавых дубах, чуть
ветер, чуть север, и мы облетаем...

Эдуард Багрицкий

Листья ржавые, врассыпку
в танце кружат
здесь, у ног.
Кто придумал эту скрипку,
понемногу изнемог.
Кто задумал тот оркестр,
повсеместно неизвестно...
Тут весна, но почки глухи,
шепелявит что апрель?
Было умер я, то – слухи,
им не верь.
Наболтали зло старухи...
Этот танец дней прожитых
совершается в тот миг –
жилки зеленью прошиты,
да не вздрогнет дольний мир...
Прохожу поминки, свадьбы.

Ах, сплясать бы, ах, сплясать!
Нету ног и руки слабы.
Не поймешь, кого спасать...
Ржавых листьев мрачный танец –
Расставание дубов.
Лист пожухлый сердце ранит.
И в дубраве звук умолк...
Лишний толк и перетолк.
Прохожу свою дубраву,
многосильную державу.
Все стоят кривы стволы.
Танец листьев – всплеск золы
здесь, у ног...
Если б мог, ему помог,
поклонился б до земли.
Но поди ж, они танцуют,
прошлогодние, свой вихрь,
злой гибели не чуют
среди чуждых и своих.
Черных листьев хоровод
утешает, не гнетет.
Ржавых листьев
скорбный танец.
А какие кружева!
Я ли в этом мире странник?
Подо мной мягка трава.

Свеча

(Баллада)

Один сию в дровянике
во мгле сарайной,
щелястой, сам в лучах,
теперь уж отдаленный,
странный,
как вещая свеча.
И так свече той одиноко,
ведь солнышко повыше крыш.
Зато глядит – и видит око!..
О чем горюешь ты, мальш?
– Да вижу, их – убьют.
– Тебе всех жалко?
– Давно уж всех...
(Тут прилетела галка.
Наверное, она!
Чего-то мне пообещала...)
И отбежала мгла...
Потом дрова с сестрой пилили,
сырые горбыли.
Мы ни о чем не говорили,
просто жили,
как могли:
пилили и кололи,
угольки мололи.
Не сосчитать мозолей,
темноты земли...
На склоне лет

все та же галка,
как угля черного закалка,
явилась...
— Пошто сидишь на пепелище?
Ты не найдешь того,
что ищешь!
Я ей ответил из хулы, зола
и голосом свечи из-под земли:
Гляжу из ветхости сарая
и мне всего пять лет,
но я давно уже все знаю.
В дровянике щелястый свет.

Угощение, как просьба о прощении

Мой поезд взял разгон —
и выпрямился горизонт...
Еще я приду,
Еще я настану.
И песни хорошие
петь не устану,
парок задержу над устами.
И солнышко масла достану,
того, деревенского — слиток
из пламени детских улыбок,
подернутый желтизною...
И вот, моя радость со мною.
Немного по совести надо —
горсть малых «китаек» из сада,
заброшенного,
еще катычок.
Ой, кувшин-то как славен!
Садитесь, прошу.
Здесь сладость моя
и слабость.
Я вас от души угощаю,
не кислыми с горечью щами,
а тем, чем богато дарован,
чем жил, затаясь очарован,
своим, не ворованным, счастьем,
когда рвалось сердце на части.
Простите, другого ведь нету.
Есть только земля, только небо.
И эта калина вприкуску.
Да что же с того, тихо, грустно...
Смородина тут и рябина,
чтоб зыбилось все и рябило,
чеснок, точно церкви головка,
для взгляда —
над дверью подковка,
для слуха —
простейший бубенчик,
он вас непременно подлечит;
вода ключевая с оврага
для легкости и быстрого шага,
скульптурка вот —
змейка-коряга...

И слезы дождя на окошке.
Всего понемножку,
всего понемножку...
Ну, как мой морозец по коже?
Забылась пустая тщета?
Осталась мечта – красота...
Я долго писал завещанье.
Не побратался с вещами.
Глядите, катык рыхловатый
и яблочки...
Ну что же, плечо угловато.
Забыл о локтях.
Очень жалко, так жалко,
а где-то плескался
разлет полушалка
и был в недосыпе
загон полустанка...
Ни рифы, ни рифмы меня
не тревожат...
Да вы угощайтесь
морозцем по коже.
А это и есть мое завещанье,
мой пир угощенья.
Прощайте, прощайте!
Уж катится ветер
над площадями.
Овраги, однако, спокойны.
Пуста погребальная койка.

Гроза. Демон

Какая гроза бушевала!
Ну, точно бы в тучах
жердиной мешала,
младенца прижавши к груди, –
и теплая, и живая...
Совсем обезумев, куда и бежала?
Дымилась пылающей шалью.
И даль, многорукая,
стоном дрожала,
по воздуху
космы бросала пожаром...
Я зло задыхался,
себя было жалко,
беспомощного
и на земле одинокого,
перед огромными окнами –
ребенка, но тут же и старца,
забытого богом скитальца...
Я босый стоял возле стекол.
Кем был?
Одичавшим Востоком?
Иль охнувшим Западом?
Тайным восторгом?
...Потом тишиной наслаждался.
«Дождался! – шептал. –
Я дождался!»
Поверженный Демон без гнева

так смотрит в постылое небо.

Портрет

И прошел замороженный,
никого ничем не потревожив.
От калитки, может, слабый скрип
да луны на смуглой коже
свет искрит, как вскрик.
Лишнего не досказал он слова
и со счета сбился
(много ль там шагов?!).
Дыбилась земли основа
среди великолепнейших из снов...
Прорастал и грезил одуванчик.
Птица, как жила,
так будет жить.
В сущности,
его лишь полю нянчить
от межи и до межи...
Камень одинокий там лежит.

* * *

Ничего, клянусь я, не унижу —
ни травинки и ни лопуха.
Вижу, как пылинки нижеет
чья-то паутинная рука
да на слабый чистый волосочек,
чуть колеблемый...
И я при том, при том
озабочен в общем-то не очень.
А гроза кладет гром на балкон.
Где и в чем другому утешенье?
Не всеяден я, всему я рад.
Далеко стою от униженья.
Знаю точно — этим прав!

Окольная

Нужен мне всего-то колокольчик
и ромашки мелкие при нем...
Я пройду дорогою окольной,
озаряемый луны огнем.
Не белейшие пригодны каллы.
Я молитву над гвоздикой
сотворю...
Вот уже и рядом засмеркалось.
Узнаю родимую семью.
Поле я за то благодарю.
И окольною шагать —
все видно,
были здесь отец и мать.
Заграничное просеялось

сквозь сито,
надо б голову над полем
приподнять.
Ты о чем звенишь мне,
колокольчик?
А ромашка, ты о ком, о чем?
Я сошел с тропы окольной,
подремал неслышно над ручьем...
Не прислушалась
ко мне подруга.
Тих в своем укромном уголке.
Раскидал и волосы, и руки.
Близко все,
что было вдалеке.

Воля

Кому мне сказать: пожалей!
Расту среди пашен, полей,
угодьев грибных, земляничных...
Я сам, как бездолью –
наличник,
кувшин молока на столе,
покрытого свежей клеенкой...
Да, есть самовар и труба,
комар удивительно тонкий
и в листьях узорные клены.
Что хочешь, возьми иль убавь.
Не обнищаю, не сникну,
к шоссе спозаранок хожу,
и там, как подранок,
не гну жалко спинку,
а слушаю города шум.
И память слегка ворошу.
«Гербарий усохший» –
кто скажет? –
отвиснет презренно губа.
Всегда одинок,
не отважен.
Как стеклышко, ночь голуба.
А дальше, не надо...
Ни слова!
Я царствую! Воля! Звезда!
Поэзией весь зацелован.
Какая тут, к черту, узда!

* * *

У всякого своя беда,
она лишь кормит –
течет, как вечная вода...
А радость – та хоронит.
Отхлынула, поди сыщи,
сбери-ка лютики...
Хлебай покамест кислы щи,
от куц былых одни-то прутики.
Беда – надёжа. Чем сладка?

А вверх с потугой тянет.
И голос вдруг издалека
стократ роднее станет.

Соловей

Еще соловей поет,
освистывает окраину.
Что слышу, то вовсе не в счет.
Я вижу хрустальные грани.
Там звук пробежит и замрет.
Пой, милый!
Поверх скороспелых машин
ты царствуешь, мой соловейко.
Да что же с того, что один
пружинишь лазорево око.
Тяни свою песню, тяни
от горевого порога.

Люблю

Люблю грозу, терплю угрозы
в начале мая, в декабре.
«Как хороши,
как свежи были розы!» –
Трава небесна в серебре.
Гроза качнулась и нависла.
Три капли уронив, ушла.
Оставила недремлющие выси.
Легка рука, душа жива.
«Люблю грозу в начале мая!» –
Да песню грустную пою.
Зарю встречаю, привечаю
и высоту люблю.

* * *

Словами опрометчиво бросаемся,
а между тем, а между тем
таится в них неприкасаемое,
как воздух в горлышке детей.
Перетекает он, колышимый,
а радость – вот,
столь быстрый смех
и взмахи палок, скользки лыжи,
поближе неба снег и снег...
О нем потом, потом вспомним,
когда покаты зеркала
нас оболгут... и станет полночь
тяжела, крута. А пауза – смела!
Ведь что-то в ней застряло
среди колосьев. Слова, слова...
Но паузы хранимы.
Неприкасаемо кружится голова.
И дети бегают.
И облачко над ними.
Поскольку слово право,
жизнь права.

Угол

На том углу, где пил я «морс»
с особым удовольствием,
где раскурил я
первый «Беломор»,
отнюдь не на безлюдном
острове,
где скрипку, застыдясь, пронес
перед дружками чинно...
стою, как обнищавший пес,
повесив нос,
не юноша и не старик,
пока еще мужчина.
Решаю мировой вопрос...
Не до красот мне что-то нынче,
так утомителен пейзаж.
В глуби, во мраке,
мальчик хнычет,
мною похороненный
сто лет назад,
а я его укачиваю, старый,
не годный, не пригодный,
терпелив.
Одна улада мне досталась:
«О! Утоли мои печали, утоли!»...
Он затихает с колыбельной
вместе,
дитя... А я ожил, ожил!
Еще чуть-чуть и окажусь
на должном месте,
отдав остаток жил, –
как ранний лед взломав,
покинет мальчик грудь.
А дальше...
дальше только Млечный путь.

Песнь

Окно раскрою настежь,
буду слушать дождь
и листьев заполошную
сквозную дрожь,
машин побег на перекрестках...
Пожить, пожалуй,
никогда не поздно,
пусть даже
под ладонью жесткой
побыть, хоть ненадолго,
но – подростком...
Шатаются излеты горизонта,
дерут там шкуры и коросты,
а сердце в упоенье бьется,
как птица, пойманная,
под рубашкой...

Стоять, стоять бы перед миром
бесшабашно.
И, что важнее,
мнить себя бесстрашным,
оставив притязания, уловки,
наедине с истерзанной любовью,
как в дуло глядя пистолета
в разгаре молодого лета...
О! Это песнь!

Дорога

Не стареет серая дорога,
пылью кормится с горба
и до горба,
от порога до порога,
для стопы идущего – раба.
Пригорюнился?
Ступай, хожалый, дальше!
Здесь прошли – кто нищ,
кто странен, гол,
с полным кошельком и раной,
полночью и бледной ранью.
На душу легло – и отлегло...
И «ямщицкою» была,
и «каторжанкой»,
«свадебной» была... имен не счесть.
Возле постоять – взовьется
полушалком
вдалеке тревожащая степь...
ты ходи по ней, как хочешь,
конный, пеший...
Бедно слово.
Вбок – и сразу ложь.
Кто томил ее, тот и утешен.
По дороге время – как стекло.
Сушь, а то в глуби затишье...
У дороги я стою один.
Мне принадлежит?
Уж это слишком!
Я не подневольный гражданин.
Ой, дорога ты, моя дорога,
Лейся! И соединиь места.
Не достану я рукой до Бога,
дотянусь, хоть малость,
до Христа.
За верстой верста...
На то и высота!
«Выхожу один...»

По прямизне

Сон наяву, ему уже не сбыться.
Чтоб от излуки
до излуки текли плоты.
Я с гребешками волн

хотел бы слиться,
поднявшись с корня
голубой сосны,
могуче-голубой...
Ствол, погода, поглажу в полдень.
Сейчас — она в голубизне.
Я так прекрасно это помню —
Лететь вверх-вниз по прямизне!
Да, да, я так прекрасно
это помню,
как на ладони
отцовский красный орден.
Живу, дышу. И все при мне...
Плоты идут, вытягиваются.
Кашляет буксир.
Никто, ей-богу, не догадывается,
что я гляжу на мир...
Какие пляски позади!
Какие танцы!
Когда и жизнь, быть может,
за троих
в глуби, ничем не омраченной,
где сбереженный вскрик...
О чем ты, наконец...
О чем ты?
Проходит жизнь размеренно,
не подчиняясь никому.
И я с корней сосны гляжу
уверенно:
мне пусто будет
в брошенном дому!
Ревнуют на плотях и каши варят,
бельишко сушат, о судьбе поют.
Все тихо, хорошо.
Глядишь, и в колокол ударят.
У бесприютства свой приют.
...Пришел. На те же корни сел.
Сосна стремилась в высь.
Ни одного плота.
Пустая гладь во всей красе.
Но оглянись!..
Есть, знаю, самое простое —
объятия излук, текут плоты.
И жизнь моя
того мгновенья стоит,
когда я с волей был на «ты».

Бег

Я все еще бегу, бегу по лугу
многоозерьем к Волге,
ягодные плети наматываю,
как истый аргамак с ожогом
солнышка на холке,
не горло — желоб свежей мяты.
Стекло раскалываю озера,
охапки собираю
воды, вчера закатной

в бледных лунах,
змеиной шкурой
кожу от плеча сдираю, —
ни малого сомнения у меня,
ни затаенной думы,
одни лишь крылья и былинка
в клюве.
Не просыхаю я,
а бронзовею жадно.
Нет слаще белой луговой
клубники,
как створки раковины, вскрыты,
рвутся жабры,
в глазах диковинные пляшут
блики.
Пропах я диким луком,
можжевеловой смолою густо,
ноздрями шевелю земное пламя.
Пуста даль неба,
снег ли там
или вытягиваются гуси
разорванными облаками...
Таков языческий автопортрет.
Мазок к мазку намеком.
Песок.
Волна ступни облизывает.
Беседу тайную веду я с Богом,
как будто перебрасываюсь
линзами.
Огромно тело Волги
распласталось,
на сене словно молодая
женщина.
Я обниму ее и обомрет
в груди усталость:
зарю смыкать с зарей —
блаженна страсть завещана...
Жизнь протекла?
Да видано ли это?
Я все еще бегу,
бегу по лугу к Волге
своей тропой,
вдоль по излучке света.
Ночь впереди,
как в ельнике иголки
на веки собирать.
Дождлся пень суровый!
И звуки смолкли.
Час одиночества и слова...
Курю задумчиво.
Припомнилось — затмилось.
Живой над головою
полумесяц встал багровый,
запекшаяся для томленья сила.

Рубец

Рубец вдоль поля,

где она прошла,
как по шелкам, разливом трав,
былинку на зубах кроша,
остался с ночи до утра
горчайшей из утрат.
Один его замечу и привечу,
воспоминанием меня он лечит.
Какое дело остальным!
Не быть мне баловнем
беспечным
и не испытывать
дым ностальгий.
Другие тропы есть.
И путь, должно быть,
Млечный.
Позаросли, казалось бы, следы.
Сознаюсь, время быстротечно...
Рукой блуждающей
поглажу я покой
рубца. Как лоб, поглажу
перелески, горки.
Да паутину не сниму с лица
погасшей зорьки.
Орешник сохранит.
И скрипнет вдруг сосна.
Ров вспомнит о былой отваге.
Без сожаления лишусь я сна...
Там – поле
и родник течет в овраге.

Камень

Встают снега.
Глаза от света ломит.
По склонам гор сбегает деревца,
как чертики сгоревших молний.
Я своего не узнаю лица.
И женщина со мной живет чужая.
Зачем живет, уже и не понять –
перековеркать речь
и жалостью ужалить,
петлей руки привычно приобнять.
Учусь молчанью,
а вражда в соседстве,
хитрей не сыщешь, вяжет узелки,
затягивает раненое сердце.
Пороги в моем доме высоки.
Мелки и мутны реки разговоров.
Взгляд углем подведен, сведен на нет.
Уж не пробрался ль сам к себе я вором,
чтоб тайно душу выпростать на свет?
Но, глядь-поглядь, она там прикипела,
с прутками клетки горестно срослась.
Подумать только,
как цыганкой пела
и дико золото бросала в грязь!
Теперь ужалась в терпеливой муке.
Я своего не узнаю лица.

И вздох глухой,
где упивались звуки,
и стон беды под клекот бубенца.
Я далеко зашел в земном
просторе,
Постиг словесной тяжбы ремесло.
И столько замков голубых построил
но с шалашом, видать, не повезло.
И вдаль гляжу на горы молодые,
как будто камень мне туда нести,
а не крыла, когда-то золотые.
Всего-то камень,
Господи прости.

Цветок

Я бережен к цветку
И к шкурке дерева.
Я все запоминаю...
Наверно, так,
геометром промерена
и даль, и глубь
до обморочного края.
Земля моя родная!
Да, я дотошен, лютику
собрат
И камню, омертвелому
как будто.
Они со мною говорят
в любое утро.
Когда безлюдно, беспробудно,
Всегда им рад.
На что им цифры или буква?
И в хаосе безукоризнен ряд.
Вот он спорхнул, цветок,
и скоро упадет.
Но у какого постоял
предела –
Могила ль матери, отца,
Спружинив маленькое тело...
Вдруг к сумеркам
погаснет и уснет.
Свое исполнил дело.
Обрадовал – и нет.
А семя вынес воздух.
О прошлом вспомнить –
погрустить не поздно...
Сентиментальная
на вздохе проза
Росой роняет слезы.
Цвети, мой маленький!
Привет тебе, привет.
Не затерялся свет и след.

* * *

Я внимателен, очень
внимателен
ко всему, что вне меня...
Может, так из чрева
матери
Глядел не я, а глаз коня.

* * *

Отец и сын на бревнышке сидят,
Тихонько курят,
брови хмурят,
как будто ждут дождя.
Отец и сын.
Распилены дрова.
Полешки, точно годы, разбросаны
вокруг.
И вкусно пахнет
свежею смолою, опилками от рук
Так вкусно пахнет.
Вдыхаю запах глубоко.
Один стою в сторонке.
Один.
С ладони на ладонь песок пересыпаю.
Давно ль я сыном был.
Теперь – и сам отец.
А между сыном и отцом –
война и обелиск...
и руки ив плакучих...
еще вот письма...
опущенные плечи матери...
погоны...
и комом в горле безотцовщина...
Отец и сын на бревнышке сидят,
толкуют о зиме и холодах.

* * *

Галчонок выпал из гнезда.
Гроза. Чего же тут поделать?
Чуть дышит бедненькое тело,
а крылышко – подобие листа.
Блестает высота.
Какой-то мальчик, вот поди ж,
ему и страх уже неведом, –
куда ты, маленький, летишь?
Куда? Спасать чужие беды.
Через окно – навывлет, в жуть
громадно льющейся стихии.
А у галчонка крылья стихли,
так розов, что не продохнуть.
Ладоней ковшик запоздал,
ничто полета не согрееет.
И плачет мальчик. Бьет гроза.
Моя душа стареет.

* * *

Вы о чем догорали, березы?
Как младенец, спал месяц в листве, —
был он тонок и хрупок, и розов,
с прошумевшей весной в родстве.
Говорил я с ольхою и вязом,
но не знали они ничего,
Каждый корень был крепко завязан
и задумчиво стыло чело.
Вы о чем догорали, березы, —
что ль подкидышем месяцу быть?
Скоро грянут такие морозы,
попыньи в небесах не пробить.

* * *

Дышать в полях, в полях лечиться,
на самом тихом вздохе замирать,
когда дубок заслонит путь плечисто,
не в силах тень от дола оторвать.
С неблизких пастбищ одинокий всадник
промчит по кругу, разомкнув простор.
С годами сладко на закате саднит
по сердцу безъязыкий разговор.
По ягоде, по ковылю, по краю
лощины — на распах земли,
как будто ты нечаянно подранен
и стебли крылья туго оплели.
У яблони, затерянной дикушки,
поймешь вдруг ясно и светло:
еще не смолкла навсегда кукушка
и жизнь, как капли света на стекло.
Там ельничек взошел по косоугору.
Малиновая бредит тишина.
И невозможное предстанет взору —
и снова даль к груди прислонена.

Аккордеон

Звучит аккордеон
над бабьим летом,
порхают сарафаны бабочками.
Смолой нагретой пахнут
лавочки...
На всем лежит прощанья мета:
в качаньи плавном крыл,
в свечении сизом дыма,
в пригорбленности крыш,
в дороге нелюдимой...
И ягода горчит,
озвучен скрип калитки...
Согреться бы улыбкой,
но... сомкнуты ключи.

А тут аккордеон
запел меланхолично, —
и звон прошел, и стон,
взметнулся стаей птичьей,
блиндажною тоской
восколыхнул окрестность —
всегорестный такой,
что ствол сосновый треснул,
и отозвался хруст
по всей усадьбе дачной...
Как будто шел незрячий,
цепляя каждый куст.
Он вел меня, тот звук,
и тропочка петляла,
покуда солнца круг
к закату плыл устало.

Вдали от дома

Плыть лебедю в неге и пене
под сенью темнеющих лип.
Невидимо всходят ступени.
Ласточка жметя в щели.
Как долго свежит, вечереет
от дома родного вдали.
Тень матери в поле чернеет
у самого края земли...
Так зоркому видится сердцу.
Безлюдно, безмолвно везде.
Осталось на тень опереться
и босым пойти по воде.

Имя

Иные выпадают имена
из памяти,
как бледные кристаллы.
Другие — дремлют,
словно семена,
всегда живые.
Время не настало
им прорасти...
Но вот и вспыхнул час:
оно явилось, твое имя!
Еще чуть-чуть,
и колос приподнимет,
звездой сияя по ночам,
кромешный август
нитью прорезая...
Земной вьюнок
до облака взошел,
сорвался вдруг —
и в раненом сознании
запечатлел
свой маленький ожог.
Нет,
ничего совсем не позабылось.

Дай времени
во мраке отдохнуть –
глядишь, и сердце радостно забилося:
вьюнок,
звезда вместились
в одну грудь.

* * *

Та же осень и – очарованье
не поблекших глаз –
ни угла, ни взблеска грани...
Волга вольно пролилась.
Воздух облегчает сухо
ровно дышащую грудь
сбереженным давним слухом:
ты бессмертен!
Вот твой путь!
Принимай небес игру!..
Я помыт дегтярным мылом,
терт мочалкой, весь – ожог.
Время бег остановило,
чтобы стало хорошо.
Ничего не значит возраст:
сопричастны даль и близь,
до крупницы ясный воздух,
в круг сойдясь, переплелись,
приобнялись между делом,
дабы вечность воссоздать, –
где тут дух и где здесь тело,
всеугодливость гнезда?..
Ты постой, побудь недолго
тем и этим, никаким,
взглядом всю судьбу окинь –
только свет и только Волга.
Потому – очарованье,
листьев с веток плавен лет.
Сходни вовремя убрали –
и в ногах земля плывет.

Тень

Солома подушек,
солома матрацев хрустящих
и хвостик, дарованный
хищно-пружинистой
ящерицей...
И вишни, и яблони.
Имя округлое – Волга.
Плывет по крови
серебристого звона иголка.
Плоты по реке,
огоньки-огонечки...
Оставлю в покое я
прочие многоточья.
Но там
моя тень
над обрывом зависла.
И это исполнено, право,
глубокого смысла –

от корня сосны,
от замшелого мягкого края...
А сам я лечу.
До сих пор на лету обмираю.
Белеют внизу крутолобые,
влажные
камни.
Что делать вот с этими
горе-руками?
Стареющим телом –
что делать, что делать?
Лечу, задыхаюсь –
Как сладко не ведать предела!
Но тень моя там –
притаилась,
взметнулась, зависла.
И это исполнено,
право, глубокого смысла.

Этюд

Какой-то дом и теплая стена.
Тень дерева. Кусочек неба...
Воспоминание из сна
среди набегов снега.
Наверно, Крым. Художник пил вино.
И рисовал. Забыл. Поставил в угол.
Этюд. Давным-давно.
Смеялась за плечом подруга.

Конечно, молоды. Беспечны. Налегке.
Влюбленные ленивы
на юге. Ведь невдалеке
приливы и отливы.

Я-то здесь причем?
Какое, собственно, мне дело,
Что отвлекло его ее плечо
и вызолотилось тело.

Их, может быть, уже на свете нет.
Да мало ли... Какие моря, войны!
Мерцает истина в вине.
Не умолкают волны.

Этюд, однако, жив в другом жилье.
Я тут случайно, ненароком.
Так. Между прочим. Завела дорога
по ниве лет.

Хозяйка благосклонна:
«Вот. Эскиз. Не помню, как случилось.
Вы знаете, большая жизнь.
Подарок. Божья милость.
Висит, и пусть!
А нас, должно, снесут...»
И долго так меня пейзажик мучит.
Бегу, и берегу на случай

неразбиваемый сосуд.

Вздох, оклик мимолетный
о том, о сем...
Прощаюсь. Ухожу.

И ветра занавес отодвигаю плотный
на дальний свет,
на дальний шум.

Фешин в моей юности

В моем гореванье – рассвет и герани
на подоконнике. Арское поле...
Давно мне известно, что будет – заране.
Я этим задумчиво болен.
А было – и сплыло.
В том давнем, не лишнем,
покрытым оконною пыльною ватой.
Я в синем и давнем пойман с поличным.
в провинциальном, увы, небогатом,
где были-остались в прожилках герани
и руки навстречу... И Арское поле
в головокруженьи – на грани, на грани! –
и венчики-стебли на легком подоле.
Она мне – смеялась, она мне – дарила!
Герани свои и секреты, секреты.
Как все это глупо, старинно-старинно.
Закапано слезками стеарина.
Так мало ненужного света.
Там был еще Фешин на стенке девичьей.
Художник! Я сроду не ведал
павлинистой краски, подчеркнуто птичьей,
в крадущейся завязи света.
Что стоит мне
взять и листнуть календарик
прошедшего. Это ли смута?
Струя мне в звериные ноздри ударит!
Картинки те странны кому-то.
А я поздороваюсь крепкой ладонью:
Так. Вдруг. В суете. И небрежно.
– Откуда вы, Фешин?!
– А там – золотое...
И все во мне ласково,
все во мне нежно.
Пускай нереально.
Все, кроме гераней
и рук, и окошек, и глаз с поволокой...
Далекая юность под воркованье
Не кажется слишком далекой.

Под небесами

А каменщик стучит.
Меня напротив строит дом.
Я сокровенно тихо
Выстраиваю стихотворенье.

Меж нами дождь,
Балкон с раскрытым ртом,
Береза осени чуть тронута гореньем
По краю листьев. Скоро их излет.
Во тьме крошечной, на заре ли.
А в полдень камень золото зальет
И я услышу узкий звук свирели,
За пазухой с согретым соловьем,
Сиротство ощутив свое.
Так неминуемо...
Не я ли Божие творенье.

Испытываю тихое старенье,
Но сердце, задыхаясь, бьет и бьет
До полного смирения...
Однако дождик льет и льет.
И равномерно каменщик снует,
Ведь для него и крыша – плот...
Он – строит. Я – шепчу свое
бездельное, как запредельное,
стихотворенье.

* * *

Лучше чего.
Хуже чего?..
Оглох думать,
Ослеп в безмолвии.
А луч – небрежен.
А птаха – беспечна.
Жизнь покрывается жизнью –
Это хотя бы знаю.

Гусь

Гусь – по-татарски «каз»...
Обсыпан пухом я гусиным.
Повдоль стены тропа узка,
бела.
Но тень решетки стала синей.

Приподнят кремль
большим гнездом.
Польются скоро перелеты.
Весенний всполошится дом,
угретый дом природы.

Пониже елочки стоят –
монашки со свечами:
меня здесь часто привечали,
и я приветить был их рад.

...среди зимы зачем он здесь,
по виду путник не хожалый?
Нашел себе однако шалость –
крутым бычком
в сугробы лезть!

А я уж перевел дыханье,
где обозначилась ступень,
стопой ощупал
гладкий камень, —
не удержать
меня теперь.

Враспашку со стеною слился.
Мгновенье — и на гребне я!
Чем не нахохленная птица,
Светлеет неба полынья.

Вот это гусь! Взлетел, забился! Да присмирел,
в сугроб упав...
В трудах и суете столица.
Привычен
холод на губах.

Но тот полет все длится,
длится.
Крыло
ужато за плечом.
Согрелась
под овчиной птица
в обнимку
с солнечным лучом.

* * *

Пора бы
кое-что переиначить
мне в жизни.
Проще — подновить.
В лохмотья подпустить
цветную нить.
Из старика глядит
забытый мальчик.

Я все еще
кочую по холмам.
На мне изношенный,
видавший виды свитер.
Воспоминания
плющом повиты.
Лицом к стене,
в углах стоят обиды.

Куда ни сунься —
драгоценный хлам.
Разбросан в связках,
обветшалых кипах.
Довольно спички.
Прошлым сыт огонь.
Но — живы яблони,
в морщинах липы,
кленовый лист кладет
на лоб ладонь.
Длань светоносную!

Храню терпенье —
единственную
прелесть бытия,
мне данную
вечерним вдохновеньем...

И лампа разгорается моя,
чтоб пережить
беднейшее столетье.
Исчеркан лист,
но дорог черновик...
Конь мечется
под огненной плетью,
не прорывается на волю крик.

* * *

Гармонь играет. Я спокоен.
И грусть прозрачно
горло серебрит...
Углы и ребра
госпитальных коек.
На ложке вспыхнувший
от спички спирт...

Давно я им обжегся,
неумелый,
а раненый
мне слезы вытирал.
Все совершилось там,
в иных мирах.
Казалось, даже струны
онемели
в давнишнем,
на весеннем пятачке
палаты...
Я на сходнях века
вдруг оглянулся.
Кто там издали
зовет меня
сквозь хлопья снега
с причала
заблудившейся земли?

Поизносилось время.
Что мне, право,
ощупывать
минувшего лицо.
Остался ореол
от прошлой славы.
Свалила гниль
пригожее крыльцо...

Как долго звук
бежал по следу!
И вот настиг.
Подумаешь — гармонь!
Но точно спирт глотнул —
и, задыхаясь, слепну,
о щеки трется

жесткая ладонь.

* * *

Ну, в самом деле –
много ль толку
слова писать.
и чтобы складно было:
о том, о сем,
мол, так и так – она любила,
а он ушел к оврагам
в самоволку
искать княгиню
или там Аленушку
и запропал...
Излишняя забава!

А жизнь, меж тем,
блестит на самом доньшке.
Слова писать...
кому же, право?
И рассуждать-то неприлично,
так недостойно,
явное безделье –
веселым лобзиком
вырезывать наличник,
кормить желание
прозрачным зельем...

Да Богу нужно! Воздуху и небу!
Среди пусть всемогущих дел.
Пожалуй, Слова невесомей нету
в приобретеньях и тщете.

Оно же под рукой трепещет,
вдруг оперившийся птенец.
О, тени в марте
голубые женщин!
Ты где-то там и где-то здесь...
Я паузы люблю.
Прослышиваю звуки в гортани. На дворе
деревья мне протягивают руки.
Я вижу слезы на коре.
Кому, зачем
гляденье это надо?!
Считать попроще, чем читать.
Могила что?
Ужель важней ограда
и новобрачная чета,
роняющая поздние поклоны?..

Люблю Слова!
Не брань.
Ах, здравствуй, март!
Зовут умчавшиеся кони.
Измучил городской угар.

Завидев тень над тишиной
сугроба,

стою.
Застенчива она.
С протоптанной сошел дороги.
К чему б на солнышке
и плечи горбить?
Мне мало правды,
мало мне вина...
Но музыка – не ноша, а – услада
бежит по веточкам,
и перышко дрожит.
Не всякое желанье свято.
Благословенно
будь желанье Жить!

Белолицый Март

Досточтимый Март,
крупитчатый снежок,
От гололеда просто не отбиться,
печет, но зябко и нехорошо...
Одна надежда – время длится.
И – грянет зелень!
А там – и одуванчик,
полураздетый мальчик,
Да не один, а – целая толпа...
Но Март течет,
тень гибельно маячит.
Земля наморщила морщины лба.
А мы голосовать спешим,
хоть птицы близко – голосисты.
И холм уже истерзан и плешив...
О, Март, дела твои нечисты!
Шагаю, к старости нетороплив,
Как говорится, «глазки протираю».
Дай бог, избавлюсь от стропил!
В твоей середке я, не с краю.
Любимый Март!
По мне – азарт.
Ищу, где б только поскользнуться...
Да не раскалывается блюдце.
Гляжу во все беспутные глаза!

Чаепитие

Беды взяли мы на себя –
Улетели на небо души,
Значит, выпала
такая судьба,
Даже смерть ее не задушит.
Пьем чай.
Ах, малинка из сада сладка.
Все погибшие вместе
с нами.
Знали гибель и тяжесть рук.
Мы огромную муку
познали...

Вот и чистенько.
Вот и сидим. Сомкнут круг
Сохраненных для жизни.
И балакаем. Ты бы села поближе!
Самовар излучает
прозрачный дым...
Жалеть ли о том,
Что осень прошла
незаметно.
Но в золотилах стоит
на пути.
Медали, медальки
Покруглее солнца
Не соскользнули с груди.
Пусть скоро 80 –
Я ведь еще не качаюсь.
Хором не построил.
А дети, как корни, крепки.
Жена еще выглядит
Статно и стройно,
Хотя мы давно,
Давно старики.
И внуки и внучки тут,
Вишни и сливы лежат
в лукошках...
Тем жизнь дорога,
Еще поживем, поживем
понемножку...
О-оо, мы потрудились!
Ветер смахнет капли пота –
Такая забава,
такая забота.

А самовар соберет:
Пей, джаным,
Если есть охота.
В этом снадобье сласть.
Крутится-вертится
Обворожительный
шарик...
А с властями
Мы не якшались...
Вот и струйка
Парком завилась.
Лишней стала
и мягкость шали.
Мы пришли – и уйдем...
«Новым» жить!
Придержите крутые
колеса.
Как прекрасно и сочно
земля лежит,
Чьи хранит вековечные
слезы...

* * *

Последний солнца луч
люблю
осеннего заката.
За локоть лета уж рукав закатан.
Октябрь прилег –
ждет жесткой крупки снега.
Я у подножия стою.
Я на вершине не был.
Карабкался и камни осыпал...
Безлиственный стоит мой сад,
Все тени спят.
А солнце между туч проваливается,
дремля,
спокойно покидая землю.
И я тихонько затухаю,
над словом тих,
но глубже затихаю,
согретый этим светом ненадежным...
Остался мед под зябкой клеткой кожи.

* * *

В окошке свеча горит.
Кто там? И зачем свеча?
Прошел с одышкой старик,
палкой простучал.
И осенило вдруг:
кончается век,
проносит пламя на ветру
задыхающийся бег.
Поздно друга искать, жену.
Никого у плеча.
Слушаю тишину.
Сошлись звезда и свеча,
два стойких луча.

* * *

Себя перепроверить мудрено ли?
На жест, на слово, разделение боли.
Стакан вина на скатерть свадьбы
пролит,
фата с уценкой обнаружена товара...
А жизнь лежит – непройденное поле.
Мать тихой стала и глядится старой.
За что кому какая кара под карканье ворон?..

Все надобно перепроверить,
как настежь окна, и в занозы – двери!
Так мается, должно, дитя во чреве,
себя и мать преодолевая.
Так песенка над полем дремлет.
Так девочка стоит
пред зеркалом нагая,
предчувствия полна, и сном трепещет:
кто я? кызым? сююмбике? аглая?
брильянтик, выпавший из женщин?
Мир жаждет пересотворенья,
мученья, сладости горенья...

А зеркало блестит и девочку вбирает.
У вечности есть дно и нету края.

* * *

Эти – пройдут, а те – спохватятся...
Чисто, светло. Стекло на скатерти –
красный и белый свет.
Никогда не будет отца, матери.
Пятнышки солнца летят по листве.

Так хорошо быть рядышком.
Что бог послал, то и пить.
Корявы ветки боярышника.
Надо не жить, а – быть!
Простенькая музыка.
Времечко утекло,
до конца неузнанное,
как взгляд сквозь
запотевшее стекло.
Было лицо – и вдруг утекло!
Или приснилось?.. Размылось.

Гуляют люди: значит, – везет.
Ласточка на лету любит,
дом на крыле несет.
А там – и согреется:
под стрехой чего не пригрезится...

* * *

«Молчи, скрывайся и тай...»
Да, мысли темные свои!
Но – чувства?..
Вот цветок растет
и прозревает: будет лепесток!
А там... и весь я подымусь!
Придет дитя – его коснусь!..

Молчит цветок. И мысль проста:
прикосновение цветка.

* * *

Щемящих листьев шелестенье,
наважденья,
забытые стихотворенья
и дата давнего рожденья...
Все угнетает,
укоряет,
снежочком тает
меж дворами.

* * *

Обнаженные поля.
Конь проскачет, не пыля.
Тут не прясла, а – заборы.
Монолиты!
Сквозь дымок усмешка Моны Лизы.
Гитары жалкой переборы.
Визги – оры...
Еще вот Пушкин вспомнится,
как давний свет в душе опомнится:
А нас уж гонят со двора
с учтивостью старанья:
ни пуха, дескать, ни пера...

* * *

На нищей России играли,
как на свирели и арфе!
Она же – металась,
откинувши лапти и шарфик.
И Чехов пенсне протирал,
Крыма не видя.
И образ являлся лохматого Вия...
Да что говорить:
надоели потешки –
мол, мы – короли, а вы –
только пешки...
Но как хорошо и светло на сеновале!
Вы девушку там,
вы девушку там
когда-нибудь целовали?
Мед тек по усам, мед тек по усам...
Повторится едва ли.
Да и крыша сарая цела ли?
России грозит
самолетный и пеший!..
Сидит на бревне горюющий леший.
Лети, ты ж не Бог, урод реактивный!
Мы – крепкий народ,
гладим конские гривы.

Перышки с руки

Мой дом открыт входящему
И уголок зажат
в почтовом ящике
письма. Призывает телефон.
Недели – под уклон
змеются, как ручьи.
Разбито прошлого стекло.
Я звук поймал: летят грачи!
Весна! Не вздох, а вскрик.
Помолодел к заутрене старик.
Уединение в награду мне.
И лица все родней, родней
Читаю книгу бытия.
Тихонько тени за спиной
стоят,

у каждой тайна есть своя
прожитая...
И кажется, прощаюсь я
для встречи впереди.
Как звучно колокол гудит!
А за стеной залился голосок.
Там мальчик катит колесо
и упивается... Я тоже был таким.
Но сдуло перышко с руки.

В гнезде осени

Не просто осень наступила,
а что-то к горлу подступило,
нарушило порядок кроводвиженья —
и тут как тут — предостережение...
Опасность, здравствуй!
Я тебя боготворю,
приветствуя по-пушкински зарю.
Мне Бог простит,
себя не пересотворю...
А надо бы,
преодолевая надолбы!..
Люблю я листьев тихий сход,
восток, что дышит еле-еле на висок,
и студень неба в стаде облаков.
Мне слышится пришествие подков.
И поле предо мной изнемогает
Под взвихренными взмахами нагаек.
И девушки на коромыслах ведрами
качают.
Проходят мимо стариков, старух...
Озвучен ум, озвучен слух...

Аист

Облака над Балканами
белые, плавные,
словно отблески пламени —
острова моей памяти...
Прилетают аисты.
Не ко мне, конечно.
Но об этом думаю
хорошо и нежно.
На Балканах где-то
у жилья садятся.
Что же тут поделаешь,
снятся мне и снятся.
Странные пришельцы —
беженцы-лишенцы.
Мне б хватило ласточки,
чтоб в мои бы сенцы.
Журавли же вовсе
клинышками мимо,
по сердечной смуте
так неуловимо.

Воробьишки, галки –
эти-то со мною,
не подвластны вьюге,
не подвластны зною.
Не пойму я все же – что же
аист кружит...
Или друг далекий трудно,
тихо тужит,
до меня ночами достает
крылами
и гнездо кладет мне
в крестовине рамы.
Ты откуда взялся,
осторожный аист,
перышком слетевшим
к сердцу прикасаясь.
Облака над Балканами
белые, плавные,
словно отблески пламени –
острова моей памяти.

Продолжение Лукоморья

Я задумался и представил – Пушкина в эполетах, Лермонтова в цилиндре с тростью. Создалась маленькая паника на, казалось бы, обжитом пространстве свободного воображения.

Иногда несоответствие выявляет бедность при роскоши. Вон куда занесло! – поразился я. – И как раньше не бросилось в глаза подобное превращение-перевертыш?

Устоявшийся образ не поддается реконструкции, вот ведь какая штука. Этак и на крючконогого Гоголя можно напялить чеховское пенсне.

Между тем Лермонтов остался при эполетах, Пушкин – с тростью при цилиндре. Однако разбушевавшаяся фантазия дала материал для размышления, и я успокоился, как будто прогулялся налегке по Кавказу, Тавриде, по петербургским дворцам, где шумели, блистая, балы.

Над Черной речкой повисла хмарь. Машук помахал мне тучкой...

1

Эполеты на цилиндр
не хотел бы поменять...
Овцы в поле заблудились,
не заметили меня.
Я жевал себе травинку,
к дому легким шагом шел.
Кот ученый выгнул спину.
А русалка – нагишом.
Были рядом... Кто еще
плыли, мир преображая?
Все пешком, бочком, тишком.
Что ли, сердце жаждет рая,
если в горле ржавый ком?
Вот добрел я до веранды,
успокоенный вполне.
Так сказал:
– И птица рада
покачаться на волне.
Никакого мне цилиндра,
трости, ярких эполет...
Я стою в середине мира,

странный, в общем-то, поэт.

2

Ах, Пушкин! Баловень!
Ведь так везло.
И грудь открытая,
и губки алые.
И тихое село.
После шумихи.
Балы, балы,
как осы в паутине.
В карету – прыг! –
и покатали.
Снега белы.
Воронками
закручиваются миги.
А этот бес
кому подмигивает?
Все талии в корсетах тонки.
Забот к тому же барских –
тонны.
Пора бы в карантин
какой-нибудь холеры,
чтоб один!
Бьют каблучками нервы.
Царем прикинулся кретин.

А в Болдино, хоть обалдей,
шатайся обалдуем:
за шишаки алтын – Балде,
не слюнки поцелуя.
Божественная Натали
пускай торчит
на Полотняном!
Мы – одиноки, мы – вдали.
И девки радостями пьяны...

Ах, Пушкин! Впору захромать
на блещущем паркете.
Не грезится тюрьма.
Бог грешного приветит.
Взглянуть бы, право,
исподлобья.
Хлестнуть бы по спине
холопьем...
Но это будет все потом.
(О том беседуйте с котом
ученым в сердце Лукоморья.)

Юнец появится
со сжатым ртом,
гвардеец в эполетах.
С горы катясь, жирует ком.
В России к смерти
быть поэтом.

Ах, Пушкин!
Летний, молодой.

И ныне в каждую
влюбленный.
Нас огненной
не разомкнуть водой,
в удаче мы или в полоне.

Так здравствуй,
через 200 лет!
Живем! И что нам
до неволи...
Стакан граненый на столе.
И взгляд
под тяжестью воловьей.

3

Иная кладь,
иные измышленья...
Кавказ просвистан пулями,
как встарь.
Невзрачной тучки
шевеленье.
Дымок взлетающий костра.
Чечен кому грозит, не знает.
Сходил бы в баню,
копоть снял с лица.
Тень неразлучна
за плечом косая.
На всех достанет ли свинца?
Вершины гор
спеленуты туманом.
Нигде приюта
Демон не найдет.
Горянки стан, волнуя тайной,
манит.
Столетия, миг...
Ложится год на год.
Поэт здесь проходил,
испил водицы.
Над бездной наклонившись,
подышал.
Что вечности? Ей медлить
не годится.
Любовь жива в укрытии
шалаша.

И шепоток, и смех.
Дремотный запах травки
подсушенной... Поделят
на двоих
вздых сладостный,
вздых краткий.
Кавказ, обманчиво
подлунный, тих.

Натали

Что бы о ней ни говорили,

она – при нем была,
как дым над суфием в куильне, –
с зарей румяна иль бела.
Другой бы выпади такое,
опали пеной рукава.
А он смиренно под рукою
лежал. Кружилась голова.
Он – отходил: жаль, промахнулся
всего-то на чуть-чуть... чуть-чуть...
и тростью проткнутая улица,
текла, вмещаясь гулом в грудь.
Сольются реки, разольются...
Освещено ее лицо,
пока горит свеча на блюде,
пока заснежено крыльцо
и тропы узенькие хрупки,
снежок порхает мотыльком...
Над ним свела и разомкнула руки.
Печали все потом... потом!
Неисповедны быть и небыль.
Жестокосердная молва
подошвами разбрызжет небо.
Есть слово божье и... слова.
Но ей нести по легкомыслию
сей опрометчивости путь.
Где знать, земной, чем дышат выси?
Уже ни выдохнуть, ни продохнуть.
А тот, который самозванец,
упрям и мил. Вполне, вполне...
Надгробье не покроет глянец
волной прильнувшей к волне.

Перекличка

За кругом круг. Поэт поэта
спешит сменить.
Изучена дороги этой
необрываема нить.
А кто ее над миром тянет
из беспросветности на свет
к любви, гибели и тайне?
Ответа нет.
Есть ряд могил. Узлы кореньев
сошлись и так переплелись
во мгле пересотворенья,
что позабылась живость лиц.
Но нить бежит,
нить вьется, вьется.
И слово дышит под рукой,
как глубь вечернего колодца,
как синь рассвета над рекой.

Проза

«Года к суровой прозе клонят»...
Сказалось так. У гения свой факт,
резон. В упряжке кони

и в дымке поредевший тракт.
До Черной речки злы ухабы.
Предчувствие. Не жалость, а – тоска.
В нужде заморщенные бабы
вон там, где пелось у леска
девицами... и сам поколобродил.
Как прозаичен одинокий путь!
Провисли темные поводья.
Что было, то – забудь.
Рука и не подрагивает.
А Керн – как есть чистейший ангел,
зачем разотмевала грудь.
Наталья – вот она, развязка
«суровой прозы»... Боже мой,
я, что ли, заблуждался? Разве?
Была поэзия женой.
«Вы, Пушкин, право же, проказник!»
Но слышен был им волчий вой?
Сейчас сойдутся пистолеты.
Ты, реченька, почто черна?
Пора! Пора! Я остаюсь поэтом
во прозаичны времена.
Не соврала ты,
хитрая цыганка!
Стара, но как мила осанка...
Натянута звенящая струна.
Вот жизни бедная изнанка –
над прорубью скользить
подранком.

Посох

Сидит, покусывая перышко
гусиное.
Опоры нет, и не нужна она.
Баюкает, лаская, тишина.
У правды глаз всегда с косинкою.
Не с порчей, нет.
Парча спадет дешевая.
Словцо б еще сыскать одно,
глазницею удариться о дно, –
русалочка всплывет шелковая
и капельки покатит – жемчуга.
Словцо б... одно... счастливо-новое.
Их в поле – целые стога!
А тут солома изнуряет сердце
иглой, копьем...
Вина скорей подай,
чтоб смог на стебель опереться.
Потом откликнется вся даль.
И посох даст.
Есть! Есть он!
Перышко гусиное
Любую переломит сталь.
Ах, няня, сядь!
Преодолеет бессилие.
И с перышком сильнее стал.

Шахматы осенью

Памяти Арсения Тарковского

Пора влюбления.
Безветренное тихое поглаживание.
Мол, поживем – переживем.
Ведь главное улажено.
Не лезем на рожон.
В руке клюка. Не ползаем ужом...

Я видел,
как играл Тарковский в шахматы.
Арсений. И колено гладил.
Фигуры, как обычно, хамоваты.
Но ведь играют-то себя,
проверки ради.
Зеркал.
Жена спускалась с рюмочкой.
Его поди пойми,
при нем всегда угрюмость
и сопряжение жил. Проигрывать не жалко,
но вечно жаль – куда девалась юность.
Где жалкий ворот полушалка?
Уткнуться бы и разрыдаться.
Привыкли к коврикам,
но не привыкли к гляnciaм...
«Ах да, «коня» здесь не хватает,
и «слон» не там стоит...»
О чем строка настойчиво витает?
Дым погасающий войною пахнет.
И – пешечка вперед (она ж святая!)!
Нас на краю глоток спасает...

И вот улыбка. Хромота забыта.
«Слона» осанка навсегда побита...
диван потерт. Лицо судьбы продавлено.
Все сделано и жертвенно и праведно.
А ну-ка, листья разгреби ногой –
увидишь череп темно-голубой,
покой земли покорно замирающей...
Прощайте, стебли, добрые товарищи!

Утро – ночь

Памяти Наби Даули

Я завидовал его
бездомности,
потресканному зеркалу лица,
тускнеющему от восхода
до заката...
Слегка подуло – и легла
пыльца.
Порой мелькала крутизна
земного ската,
распластанная тут и там
засада
и вкрадчивая поступь
подлеца.

Он был изношен. И любил
обувку старую,
пчел, бабочек, стрекозок, –
как воду из ручья, так воздух
пил.
А воздух был весенне-розов.
Он жизнь берег, как берегут
остатки сил...

Бездомность – так уж выпело
кочевье,
а потому ценим покой
в тиши,
по краю леса свет зари
вечерней.
Стучатся гости – мысли
в дом вошли –
детдомовские скрытые
мечтанья,
плен до костей, до жилы
узловой...
А ну-ка выпьем водочки
из чайника,
он как-никак везде товарищ
свой...
Ну вот и все, на солнышке
погрелись.
И – по бездомьям! Скоро уж
конец.
А сам все восторгается:
«Какая прелесть!»
Таким бывал, должно, и мой
отец.
При чем здесь одиночество?
Как вдаришь
из двух стволов – фанера
зазвенит...
Мороз. Не за версту
товарищ.
И не в могиле. Жизнь
торжествует, Жизнь!
Когда ее кочевьем одаришь.

Призрак

Памяти Салиха Сайдашева

1

Свалялся пух... И мне, должно, пора.
Заоблачная высится гора.
Зовет. До бессловесности рукой подать
Исплакались в гнезде отец и мать.
Недолго встречи ждать.

Я крылья поднимаю к восхождению,
опробываю воздуха волненье:
перо к перу лежит, но каждое – отдельно.

Как влажно и светло!
Распахнуто по серебру стекло.
Один лишь дворник сор метет метлой.
Туманен и румянец над землей...
Я здесь пока.
Но взгляд подернут мглой.
Страшит ли что?
Есть трепетный испуг.
Как среди ночи
в сердца дверь
нежданный стук.

2

Всегда задумчив, тих и грустен:
дождь прошумит, снежок ли хрустнет...
А тайна все при нем.
Окатит солнышком, к луне ль прильнет –
ласкает музыка!
Окно поголубело.
Там женщина стоит, приветливая,
в белом,
в такую даль зовет,
не выплывешь оттуда.
И смерть, он думает, бывает чудом!
Однако скоро утро...
И руки клавиши перебирают –
ступеньки вверх, поближе к краю...
Паренье паутин.
Как хорошо,
что в этот час один.

Нить связующая

Предки

Мои предки, как слегка подчерненное золото,
высвечивают из тьмы,
смеются вкусно пляшущими губами.
Взрывается воздух. Так взрывается конь
от удара камчи
и мчит.
Но прежде рождается пламя.
Рубахи как птицы. Арака застеснялась себя,
запотела со льда в хрусталях.
Плов парком закудрявил могучее блюдо.
Я за ними слежу, глазом жарким за ними веду,
затаясь.
Скоро кровь полыхнет – подрасту!
Ничего. Свое место добуду.
Сяду рядышком, вровень.
И грудь широко,
как гармонь, разверну.
Станет тесно – и стену немножко подвинем.
Вон как месяц в саду распалился,
каленой подковкой сверкнул.
Подрасту. Ничего.
И невесты лицо забелеет небось
перед ними.
У меня ой, какая смола загустела,

блестит в волосах.
Кость тугая. Не ребра, а гнутые сабли...
Мои предки запели – лес шумит.
На щеке замерзает слеза.
Укачало меня басами.
Засыпаю. Полнехонька пазуха тихой радости,
дорогого тепла.
Погружаюсь в глубокий, обманчивый омут.

Еще память моя, как простынка младенца,
бела,
но готова вот-вот разгореться соломой.

.....

Никого за столом.
Будто ночь пролетела,
ночь крылом просвистела одна,
а скатерку с угла – самобранку сорвали.
Я лобастый стою, весь лучами пробитый
до чистого дна.
Где же предки мои?
У-уу, хайван!
Обворовали!
Расхватала война –
подчерненное золото, кровь из огня.
То-то всадники были, бесшабашная сила!
Я бы вровень, грудь в грудь...
Не дождались меня.
Покосило их, покосило.
Но опять, но опять
стол звенит светоносным стеклом
и дыханье к дыханию перебегает.
Не расстанется скачущий с навсегда
прикипевшим седлом.
Птицу небо не испугает.
И поют они, плечи по кругу крылато
в потемках обняв.
Ах, «Кара урман» – песня тревоги!
Вот и место мое. Я пою, и не слышно меня.
«Пронесет нас по вечной дороге...»
Разве золото гаснет,
подчерненное золото разве гаснет в ночи?
Истребляется, что ли, меж кремнями
дерзкая искра?..
Утро тихо кладет в изголовье застолья мечи,
чужедальные веси обрыскав.

Пасека

Мы, как пчелы,
улетаем на поляны цветущие
мед собирать.
На поляны бывшего.
Горечь и сладость
там опьяняют.
И мы узнаем,
что крылаты,
а не рукасты,
полетны мы,

а не пеши.
Головокружительны!

Собираем время хоботками
из самой сердцевины.
Собираем в долинах
и горных отрогах,
у кратеров спящих вулканов...

Пасека дня молодого
тяжелеет
от прозрачного меда
исполненной жизни.

Старцы

Старики за самоваром
в летний день
под вишней разомлели.
Вприкуску – сахарок,
вприглядку –
женщин молодых мельканье,
вполуха –
детская возня и визг...

Душа вся занята былым:
там воздух слаще,
томится удаль взаперти,
давно покошенных лугов
пьянит трава.
У каждого
свой посох под рукой.

В снежный день

В снежный день,
незаслеженный,
тихий,
как дыханье ребенка во сне,
очнуться и все увидеть.
Прозреть и щекой запылать
в ясновиденье тайном:
«...когда-то... давно...
уже было...»
Снег ниже мгновенья на нитку
без узелков.
Проступают родимые пятна,
заживают морщины.
Просветляются зеркала.
Бредит стекло звоном.
В снежный день,
соболиный,
песцовый,
олений,
очнуться и все увидеть.

Ночь

Ночь слоями лежит.
Различаю и черный, и синий,
и спеленутый мглой – малахит,
утекающий шкурой лосиной.

Под луной студенистую дрожь
отличаю от пепельной дрожи,
где как будто скользнул узкий нож,
и зеленый прорезался тоже.
Ночь исполнена мощи,
закидана звездной шугой.
Голос ищет на ощупь –
паутиной – опоры живой...

Где ты там затерялась?
Под какою притихла стрехой?
За всю боль насмеялась
и дрожишь, как звезда над рекой.

Отзовись беспечно,
мирозданье глухое пронзи,
скоро птицы отчалят
и вблизи, и вдали.

Этот звук, нарастая,
через сердце пройдет.
Жизнь в задумке простая
и разгадки себе не найдет.

Наслоилась как ночь.
все цвета воедино смешала.
Что ты ей ни пророчь,
а она еще лист не сдышала.

Глубь

Все-таки,
так-сяк разглядывая себя
со всех сторон,
как причудливый куст,
мы боимся наших изъяснов,
и поспешно
отводим глаза от глуби,
где плавают
диковинные чудища.

Куда как лучше
полюбоваться
чистой гладью озера
с отраженным облачком.

Отчего-то
беремся проветривать
в комнате,

скрести зеркала,
хотя все опрятно
и благообразно.

Но глубь приманивает,
обнажая жизнь

Садимся
где-нибудь в уголке
и,
побольше набрав воздуха,
погружаемся в прошлое
Чего мы там ищем?

Потерянные тени,
сожаление,
оправдание?..

Но в эти минуты
мы становимся сами собой.

Сыновья

Один –
отсчет ведет
от скорой смерти матери,
от дней последних
нитку рвет зубами словно:
«А после заживем!»
Мать постояльцем
теплится в углу.
Утром зимним
облачко дыхания
на зеркало ложится...
Другой –
прислушивается ночью,
воспоминаньями вокруг
летает, как сова,
поддерживает
жизнь за локоток,
и шорох паутины слышен.
Мать поднимает веки.
Кто навеял сны?
Кто посетил?
Вот и румянец на щеках...
Два берега –
два сына у нее.
О, как она боится
перебежать по бревнышку судьбы
от одного к другому.

* * *

Не мне изобретать другой язык
поэзии
и путать словеса с кошмаром.

Самой природе проходить азы
от почки до пожара
без спеси.

Луч ютится,
легонько вороша страницы,
чтоб деревом стиха ветвиться.

Я — человек, но я и птица,
и обожженный корень я.
Мне надобно перевоплотиться,
морозным пламенем горя.
Цвести в пустыне саксаулом
и, клином взрезывая синь,
прознать от шелеста до гула,
что я природы равный сын.

Август

Затягивает август паутиной,
где б ни прошли — ни узелка.
Распороты тюки. Расставлены картины.
И тень на просеке легка.

Не позабыты зеркала, —
они стоят, но позади отдельно,
и понемногу убывает свет
и звук — то флейтой,
то свирелью.
Туда возврата больше нет.

А до другого августа нам надо
перебежать. Всего-то приподнять
тяжелый бархат темного заката
и прошлое опять переиграть
в который раз,
с дыхания не сбиться,
а там, глядишь, задумки соберем —
черновики пометим сентябрем
и с чистой все начнем страницы.

Так день за днем.
С пером и кистью просекой пройдем.
Зеркальной просекой...
Как говорится:
«И поздний гость —
луч света в дом...»

* * *

На кончике иглы
всегда мерцает свет.
И призывает
уколоться.

* * *

Стена деревьев за окном
латунных.
Голубоватый воздух по стеклу.

В глазах студено.
Как паучок
в прозрачном янтаре,
замерз я
под верблюжьим одеялом.

* * *

Он посохи строгал.
И в час луны холодной
к дверям соседей прислонял
тайком.
Дивились утром старики.

* * *

Скудеет материнский ум.
Усохли стебли.
Одни лишь птицы
черные кружат.
И сковывает веки лед
над зимним полем жизни.

А я сижу на солнечной поляне,
ей кажется,
младенец голоногий.
«Вот бабочка, сынок!» –
она мне говорит,
себя не слыша.

* * *

По лесенке убогой строк
взбираюсь ли,
спускаюсь...
Конца и края нет
моим скитаньям
от сердца к сердцу
без приюта.

* * *

Сегодня так мне одиноко.
Ни луч не веселит,
ни ветка не достанет...
Пойду и яблоко сорву
в чужом саду.
Быть может,
сердце встрепенется
от озорства осеннего.

* * *

Что этой девушке насмешливой
до моего уединенья?
То крапивой обожжет,
то спицею уколёт,
то цветком
заденет ненароком...
А я и рад,
хоть бровь держу настороже.

* * *

Такие вечера случаются в природе,
когда себя мы зрим со стороны
так ясно, как луну на небосводе,
и все прожилки на судьбе видны.

Латунный свет и сумрак осторожный.
Подсушенных пригорков шепоток.
С осины старой без пугливой дрожи
к воде слетает срезанный листок.

* * *

А ночь опоздала звезду погасить...
Преоборенья означены силы:
под каплей пружинит тончайшая нить.
А просеки – глухи, а борозды – сиры.

Одна лишь полынь бабий век сторожит,
свежа и покорна пред пламенем стужи,
прильнула к рукам, тихим светом дрожит...
А ворон над полем и кружит, и кружит.

А стылые лужи глядят в небеса
сурово и скупно из грязи дорожной,
совсем как земли охладевшей глаза
без темной печали и тягостной дрожи.

Я в пустыни этой подолгу брожу:
разъехались гости, и шум удалился,
беспечный, веселый, отчаянный шум,
в тумане сокрылись пожившие лица.

А там, за оврагом, есть белая печь
и женщина с запахом горькой полыни, –
вот все, что сумел для тепла я сберечь...
А завтра уж снег просветлением хлынет.

* * *

Живу!
А это значит –
необходим мой голос
в этой шири,
мои глаза,

всходящие на свет из тьмы,
мои слова —
души прозревшая трава.

* * *

Мне бы горн серебристый
под соснами медностволыми.
Мне бы обжечься языком
о морозное пламя,
исцарапаться в травах,
с луной разговориться накоротке.
Мне бы, как ящерке,
сбросить кожанку ветхую кожи...
Неужели, приговоренный,
я корнями из земли выползаю,
чтобы увидеть погибшие ветви?

* * *

Молоком отпаивают слабых,
облаками убаживают сырых,
золотом обманывают нищих...
Дыханием ребенка
мир себя согревает.

Осень

Ни листом, ни веткой
ветру не помеха,
осень гладит светом,
окликает эхом.
Но не вдруг, а словно
робко, ненароком
вздохом или звоном
всколыхнет дорогу.

Вроде бы откуда?
С чуда разве взяться? —
Издалека кудри
бегом золотятся.
На щеке простора
родинка березы.
А по кособору
льется воздух розовый, —
ветлы там сомкнулись,
надышавшись света,
да так и заснули
до другого лета.

И на сердце легкость
облачком повиснет.
Будто птичий клекот
настигает высью.
Но чиста округа,

нету ни пылинки.
Да опять друг друга
зазывают клики,
позади и сбоку,
глубью и по шири...
Обняли дорогу,
душу окружили.
О былом ли алчем,
весть ли о далеком –
веет, вызолачивает,
зрит глубоким оком.

Снег

Я произношу: «Снег...» –
и мне становится светло,
как, должно быть, айсбергу,
отрешенному в океане.
Точно у меня там, в глубине,
превозмогая пласты,
в беспамятстве души
пересыпается снег.
Он холодит мою грудь
бесконечным паденьем.

Это облетают мгновенья.
Я хотел бы их повторить,
а они исчезли,
превратившись в пепел.

Но там,
в беспамятстве заолодавшей души,
в глубоких потемках
осыпаются узкие перышки
когда-то свободных крыльев,
взметенных полетом.

Нескончаемо падение снега,
и сладостно,
и безвозвратно.

Падение, а не полет,
оглушенное медленным светом
сгоревшего солнца
на срезе льда.

Я освещен в темноте
пламенем жизни.
Падаю, падаю...
Высь и глубь обнимают меня.

Нить связующая

Да, да... Уйдем, и нас не станет,
как эхо, сгинем в мирозданье.
Осенний ветер срезает стаи.

Об этом знаем мы заранее,
приговоренные к концу.
Проходят тени по лицу.

Нас время метит, услаждая
и раня каждого в свой час.
Но вечно юная, живая
душа не ведает прикрас
и увяданью не подвластна,
ей вовсе даже дела нет —
она мила иль безобразна,
закат ли дня иль утра свет.

Она средь нас кочует тайно,
а не гнездовье сторожит,—
и оттого необычайно
нить, ей зажженная, дрожит,
связуя всех —
кто был, кто будет —
единой долей круговой.
Бессмертны страждущие люди,
покуда терпит шар земной.

Птица

Обрадуйте меня неожиданной вестью,
словоохотливой от возбуждения:
— Отныне и навсегда
птица неприкосновенна!
Дерево — вечно,
на котором живут гнезда.
Отныне и навсегда!

... Играл перед горем моим
на гармонии
инвалид с деревянной ногой.
Я держал в ладонях
убитую птицу.
Потом
белым медведем зимняя ночь
под окном стояла.
Сплывались киты-великаны,
когда о войне
говорили суровые люди.
Жалели, должно быть,
убитую птицу.
А она —
летала во сне,
летала
и не убивалась о стены.
Птица всегда жила надо мной...

Не торопится весть
захватить врасплох:
— Птица неприкосновенна! —
Как ожог радости.

Продувает сосед во дворе
блестящие гильзы,
как чуждого зверя зубы.
И торчит на суку его майка.
На суку – майка –
не глазастая птица.

Мне почему-то кажется,
сосед исчезает,
а майка все так же будет торчать
через сто и двести лет
мертвым листом
на голом дереве,
под которым блестят
окаянные гильзы.

* * *

Желание быть молодым –
прискорбное желанье.
На срезе льда оттаял муравей.
Напрягся краснотал.
Снег ноздреват.
И вербное дрожанье
среди холмов касается бровей.

Со всех сторон охватывает
сини чистый холод.
Произношу бывшего имени,
но не согреет горла одинокий голос.
Простор стоит, как белая стена.

И лишь вдали два лыжника промчатся,
лыжней победно ослепляя путь.
До них не добежать,
не достучаться,
но – глубоко вдохнуть,
расправив грудь.

* * *

До марта дожили,
как до чистых седин доживают.
Запах промороженного белья обжигает,
кровь холодит.
Ах, как здорово жить
без причин и следствия
в марте!
Подкидыш словно –
ни имени,
ни сколько лет...
Жизнь, как луч, невесома –
луч на зеркальном стекле.

Чудак

Чудак часам придал гримасу –
Назад шагают стрелки
без оглядки!
А сам сидит,
как очарованный хитрец:
гляди-ка,
время утекает вспять!

На склоне дня

Течет толпа
на праздничный манок:
мальцы,
как пузырьки в стакане газировки,
кипят,
о воздух обжигаясь.
То – прошлое мое хмельное.
А там,
в тенишке за самоваром,
грядущее парок сдувает с блюда.

Простор

В бору сосновом
статью выпрямлялся,
в ущелье горбился,
в полях
был сам собой.

Время

Живем,
а время уходит.
Для нас уходит.
А не будь нас,
безмятежно бы струилось,
парило воздухом.
Как циферблаты мы,
всего лишь ходики
под гирькой притяженья.
Без нас нет времени,
есть бесконечность.

Преимущество

Пригожа молодость
глядится в зеркала,
чаруясь.
А старость
с подзеркальника сметает пыль
не поднимая глаз.

Удивление

– На трех китах земля держалась.
– На трех?!
– Да, да, себе представьте,
на трех могучих!
– А теперь?
– На трех фонтанчиках!
Киты уплыли,
а фонтанчики остались...
– Да ну?!

Что было

Что было грузом тяжким,
тьмы лавиной,
рыком льва казалось –
из дали дней
явилось ветром легким.
Души коснулось сладко,
как ржанье жеребенка в поле, –
долетело,
притуманило,
обворожило.

А там,
где пух летел когда-то,
теперь повал замшелых бревен,
щетина сучьев ржавых –
поверженное бремя лет...

Гляди-ка,
одуванчик обернулся камнем!
А с валуна
течет слезою черной ежевика...

Ужели промелькнула жизнь,
как бабочка повдоль ручья?

Начало зимы

Никак не упадет зима снегами.
Дождем сечется и снежком неверным
млеет.
Пойдем-ка в поле, друг, намокшее стогами,
подышим сеном, волей!..
Есть ли что милее
перед лицом зимы до корня просветлеть
и до глубин всей грудью раздышаться?
А там – снега... И очень может стать,
в ушко земли и тропки не продеть.

На восходе, на закате

На восходе, на закате
лик земли исполнен света.
Материнство —
вот ему название.

Тени чуть касаются друг друга,
влага на листьях прозрачна.
Глубь вздохнет —
и ширь задышит.
Все замедленно и величаво.

Кажется, сейчас, сейчас —
крик ребенка над землей повиснет,
и она спохватится листвою,
подбирая зелень юбок,
добрая большая нянька.

Зимой

Как целовал тебя!
Так воду пьют в пустыне
под воспаленным солнцем,
сжигая горло...
Когда бы знать,
что замерзать мне
в одиночестве зимы.

Ложь

Ложь без ума.
Прикинулась и рада
убогому наряду блессток.
И так, и сяк
вертится в зеркалах.
Глаза ж
боятся темноты коснуться,
откуда грех глядит
стооко из углов.

Восторг

Прозрел я.
Даже след крыла
на сини различаю,
где ласточка стремглав промчалась.

Секреты

Секреты
сердца материнского
на детях проступают родинками.

Ученик

Свиток судьбы
жизнь развернула.
Все знакомо
до буковки малой.
Но опять постигаю азы,
мучительно мысль выпрямляя.
А свиток сворачивается,
сворачивается
на самом интересном месте.

Полдень жизни

Как чуден полдень жизни на проселке!
Смолистый срез, откинута ветвь
и грома шум, июльский, долгий,
плывущий шум на вскинутые веки.
Не продохнуть. Как хорошо!
И празднично, и юно
мгновенье длить и узнавать в лицо
сиянье севера, и бархат юга,
и радуги цветное колесо.

Следы

Вижу, следы твои
маленькие в темноте
загораются,
не уходят, а кружат.
На крыльце я сижу.
Шелесты вспархивают.
А следы не подходят, кружат.
Такая игра каждый вечер:
оживают следы,
загораются фосфором
и долго-долго,
оцепляя, кружат.

Миг конца

Под утро вдруг
часы остановились.
Иссякли.
Последний миг поймал –
падение капли.

Служили столько лет,
крутили время.
Не суетились от столпотворенья
событий и сердцебиенья
в избытке благостного рвенья.

«Так? Так ли?» –
знай колесо толкали
до последней силы капли.
И вот –

иссякли.

Первозданность

Дощатый пол. Осенние плоды.
Дорожка. Сад. И лапа ели.
Ребенка смелые следы
траву прижать к земле успели.

Бодрящий холодок.
И перестук
ветвей. Кувшин воды студеной.
И голос из оврага вдруг,
как будто только обретенный.

Умолк.
Но вслед за ним душа
уже спешит
и крылышком дрожит там.
А сердце бьется. Грудь свежа...
Что прожито, то пережито.

Сольвейг

Я беден был.
И снег, и дождь
мне залепил лицо.
Как вдруг вошел на чистое крыльцо –
а тут скатерка и в сосуде свет...
– Где ты бродил?
Ждала я столько лет!
Садись к огню, а я закрою дверь.
Одна беда... старуха я теперь...

Младенец

Ни о чем я не знаю еще,
но кто-то упорно
хочет украсть меня.
Я отбиваюсь, блажу.
Уцепиться бы, спрятаться!
Крадут и тащат,
крадут и тащат.

Девушка

Подарок я драгоценный,
который грешно дарить.
Грех, говорят, и все.
А на что я себе,
драгоценная,
переполненная до краев?
Об этом молчат.

Блуд, говорят.
Сатана, говорят.
Все болит сладостью,
зазывает.
Через щелочку вытеку!

Юноша

Силы куда девать?
Камень искрошил,
железо согнул,
а до этой дотронуться боязно:
гнется, да не дается.
То – ластится,
то – летит ласточкой.
Совсем закучерявилась.

В поле ушел,
а она – следом,
как шелк.

Старуха

Один и тот же сон приходит,
ощупывает днем ли, ночью,
словно в пахоту я ухожу.
Забирает меня, забирает.
Нет, не больно –
то тепло,
то холодно.
А люди далеко песни поют,
слышу.
За голос пока и удерживаюсь.
Узелки корней распускаю.
Дай бог терпенья!

Ночью

Ну, право же,
в музей бы сдать
оратора ночного.
К устам – замок амбарный!
Не дай-то бог
проявит красноречье
и съест язык свой.

Таким я был вчера –
единственный свидетель
и слушатель
души безумной.

Спор

Надменная,
зачем с тобой мне спорить —
алмаз травинкой нежною
царапать?

Дерево

Упало дерево.
Звонящий столб
поднялся в воздух.
По лесу гул молвы:
«Собрат погиб ...»

Жасмин

Уловок сколько
жизнь приберегла...
Влюбленный,
как я горько плакал!
Но слезы высохли.
На месте том
жасмина куст
стоит цветущий.

Гнездо

Средь веток слабеньких
гнездо ютится,
не спрятанное от напасти.
И град прошел,
ураган содрал железо...

Крыло ж мелькает,
клювики раскрыты.
На чем и держится
бесхитростная жизнь?

Лис

Ушлый лис ко мне повадился
пить яйца прямо под наседкой,
пока со звездами я говорил.

Доколе

Доколе болтуну
коня пришпоривать,
творцу же
ослику чесать за ухом?

Божок

Божка я вырезал из корня.
Освободил.
Взглянул он на меня
и усмехнулся
косою трещиною рта.

Июнь

Июнь пахнул душисто сеном.
Красавиц деревенских
не удержишь, —
куда и пропадают на лугах!
Сухие стебли в волосах приносят,
ладошкой укрываясь.

Грех

Во сне я согрешил.
И целый день
оправдывался втайне,
смущенный дерзостью услады.
Однако новой ночи ждал,
как первого свиданья,
зевая невпопад.

Баловница

И муж не приревнует,
и прохожий
взглядом не потешится.
Сигают ребятишки,
как кузнечики,
едва калитка скрипнет.
Перестучала зубками
всю жизнь,
теперь ощупывает
десны языком.

Лес

Сегодня лес
мне думку нашептал:
нежданный гость заявится
с охапкой новостей...
И долго я гадал:
кто б мог быть это?
И, окруженный
лицами склоненными,
заснул
в обнимку с юностью своей.

Утро жизни

Утро жизни,
как вкус земляники
с теплой руки материнской,
ощущается позже
и тает во рту,
когда снег и висок подморожен,
и до старого дома
только памятью можно достать...
Среди ночи проснуться
на ягодной чистой поляне
и себя не узнать.

Молитва

Купает сына мать.
Сияет озеро.
Посверкивают в камышах стрекозы.
Тихонько льется говорок.
И не вспугнется птица...

Священная молитва перед миром —
купает сына мать.

Осенью

Дух древесный
вышел ко мне из чащи.
На пенечки мы с ним присели,
погоревали маленько
о весне прошумевшей.

Давняя боль

Подросток остроплечий
в папоротнике душном
сурово тень свою
ногами топчет.
А девочка за ельником смеется.

В этом доме

В этом доме враждуют.
И цветы здесь не пахнут.
И глаза не блестят от обнов.
Тень пугается тени.
В зеркале ртуть замерзает.
Каменеют подушки на ложе...

Лишь ночью нежданно
вылетают дневные
ласточки смеха,
от испуга
превращаясь в летучих мышей.

Жизни срок

И так, и этак
жизни срок прикинул...
Забилась ящерица в нору,
снаружи – только хвостик.
Я за него,
как за соломинку, схватился.
И вот она уж вся
о воздух
парапается и трепещет...
Выходит, поживем еще,
держась за кончик.

Перед стужей

Рябина нежная
к забору прислонилась.
Кого стесняется,
кому приветы шлет?
Пустынно перед стужей.
Одни-то яхонты горят,
да рученьки вразлет.

Мотив

Как часто легонький мотив,
давно забытый,
возникнет вдруг
и все вокруг озвучит.
Звоночки словно
там и сям развесит,
забавляясь.

Серенький мотив,
обычный,
как воробышек на ветке...

Но ты уже запел,
рубаху белую надел.
«Торопишься куда?» –
очнулся на пороге.
«Ах да... конечно...
что за блажь...»

А он не унимается,
знай, трогает звоночки,
испытывая сердце.

На воле

О, как богато пировали мы!
Застолье поля,
родничок и пламя солнца...
Нет голода прекрасней, чем любовь
с горчинкой осени.

Песня

Старинна дудочка,
но кто в нее подышит,
услышит песню жизни.
Мотив бесхитростен:
вдох — выдох.
Однако и повторов нет.
Из уст в уста передается пламя.

Сосед

Сосед мой заболел совсем.
Глаза покрылись ряской...
Берется городить забор
в открытом поле.

Сны матерей

Сны матерей уносят дети.
И шарики воздушные
цветут над головами.
То — сны, то — сны.

Свалялась шерсть бывшего,
но пух еще тихонько кружит,
качая золотую землю.

Семя

В горшке цветочном
горестно земле.
И семечко ростком
себя же задушило.

Колокольчик

Легки шаги среди небесной шири.
И мягче пуха твердь
под ветерком желаний.

Но тяжелеют веки.
Муравей судьбы соломку тащит.
Белее снег и пепельнее ночь.

О чем твой колокольчик звякает,
мой нежный верблюжонок,
отстав от каравана лет?

Побывка

Дымно, чадно.
Звякают медальки.
Все колени я пересидел.

Пахнет дом отцом,
овчинным полушубком.
Над свечою дым слоится.

А слова не задевают слуха...

Вздых – и гасят свечку.
Но овчина
и во тьме белеет,
заливает сном глаза.

Вот и все.
Наутро голый гвоздь,
где полушубок грелся.
И сугроб в окне холодный.
Запах же неистребим доныне,
прижился в глуби.

На родине моей

На родине моей
быть и полынью сладостно,
и полыньей очнуться,
и полыхнуть зарницей запоздалой,
свечой оплавиться в потемках,
плакучей ивой
опрокинуться в реку.

Мать

А мать совсем старушкой стала.
Не слышит, как живет.
Уже свила свой кокон.
Вся в паутине мыслей
запуталась.
Единственная книга – память
до дыр залистана...

На веках снег еще,

едва коснувшись,
тает.

Игры

Год ребенка на планете
вытягивает шейку тонкую,
балансирует на лиане –
пропасть пугает.

У взрослых столько игрушек!
Заигрались совсем.
Травят друг дружку,
как тигры.

А детям –
горе одно – такие игры:
пересыпать горстями Сахару,
насытиться звездами всласть,
благо, их не содрали с неба...
«Пусть полакомятся
бедные дети земли!»

Урок

Я – ученик,
школяр и недотепа,
с испугом озирался:
видел – два полушария земных,
разъятых половинки две.

Взял великан
и землю разломил,
теперь соедини попробуй!

Со страхом я глядел на карту:
моря текут сквозь пальцы
огромных рук,
темный лес трещит,
песок пустынь струится...

И до сих пор
хруст раздираемой земли.

О наважденьях речь ведут,
об альбиносах
с прозрачной кожей,
переселенье душ,
пожарах крови.
Генетики цветочки
собирают
в пучки бумажных мыслей.
Тревога. Страх. Усталость.

А у меня соседи:

Лотрек коротконогий,
Ван Гог с душой младенца,
калика Брейгель –
поводырь слепцов.

Босх-ясновидец
в чреве мироздания...

Палитра –
каравай земного хлеба.
Вечеря затянулась.
Буйноголовый день
встает в окне,
деревьев шевелюру расчесывая пятерней.

Дом поэта

Ю.М.

Нет ничего в его обители,
что бы сгодилось
для старьевщика.
И без часов живет хозяин,
и без ключей в кармане...

Так еж живет и птица,
великан живет небрежный,
море так живет,
листая волны,
шевелия песчинки и плавники.
Пыль золотая слов
в столе ютится.
А сам –
сидит на чурбаке березы.

Быть весне

Ветер дупла прочистил в бору –
свистнет там, свистнет тут.
Сам заслушается.
Мастеровой голорукий!
Стволы огладил,
подутюжил склоны,
гниль распушил сквозняком.
«Быть весне!» –
шевелинул язык колокола.

И поплыл звон над селом,
блаженный поплыл.
Полусонный –
полем, полем поплыл,
смуты полный,
в овражные подолы.
Застыдилась береза
своей наготы.

Звезда летит — надежда не погасла

Октябрь

Хвоинка различима, так прозрачно!
Барокко и уют барачный,
пересотворенный из конюшни,
из всплесков рыжих и синюшных, —
России образ, никогда не скучный,
душевная, контрастами больная —
явь-полусон, прискорбно тлеет,
не линяет, —
пейзаж плывет по воле волн...
То в бисере, то в инее
янтарь и охра.
Вдохнешь — помедлишь —
нету слаще вздоха!

Ограды эллипс,
ржавчиной покрытый.
Там каждый тычется в свое корыто.

Усадьба — храм, чуть сдвинут
свет и разум,
укрошены снотворными проказы...
Невдалеке — холмы,
волнения полны.
В низине — рельсы...
Здравствуй, моя осень!
Не в заточенье я,
но шалости забросил,
как в карантине Пушкин...
И по слогу ясно:
звезда летит, надежда не погасла.
И — тишина. Ни сумрачного лязга
ключей... Я на покое здесь.
Чем дышит Слово — то и весть.
Жить, стало быть, опасно.
В толпе, среди кочующих идей,
ну, где уж мне понять:
кто друг, а кто — злодей?

Все, что есть призрак —
то прекрасно!
Прогулки переулками негулками
под настилающей
лиственной красой...
Мне снишься глубоко
ночами лунными.
Октябрь студен, желток с голубизной.

* * *

— Что ты пригорбился,
мрачный старик,
бедность свою не потратил?
Крылышко гладит алой зари,
глаз побледнел на закате?

– Разве ответишь?..
Уж я помолчу.
Все эти краски не новы.
Девушка ночью припала к плечу.
Искра коснулась подковы.

* * *

Я сам содеял тишину.
Пусть мрак,
скребок мне малый слышен.
За дальнюю околицу я вышел
и разломил крыло
последней крыши.
Оставил на веранде таз,
полнехонький омытых вишен.
Забыл, – куда, зачем иду,
какая ветка вздрогнула в саду...

И вот – мой Путь, недремлющий,
так тих.
Один кузнечик тенькает: «Так-тик»...
И бог в мои глаза глядит.

* * *

Спокойствие даруется.
Сосед поругивается.
И колокол звонит.
Священник бледный
смотрит на хоругви...
Перемешала осень
раннее и позднее,
из-под наряда лезет
глушь исподняя...
Мне, размышляя
нравится живописать,
осу, хмелеющую, в мед вписать,
и, как она, привет невесть
кому послать:
такая горечь – сладсть.
Вдруг, затаясь,
безвременно пропасть
до снега, до заглушки нор и гнезд,
в психиатричке-электричке
бомжем притвориться...
Блаженным может это
лишь присниться.

Я сплю – и вижу.
Прозревая – сплю.
Дай дыбу – и ее стерплю,
колесования круженье
за ради воздуха скольженья,
легчайшего, познабливающего чуть,
когда не гнет, подламывает грудь...
Сосчитаны все ребра, позвонки...
Стоишь свечой среди реки

на стрежне самом...
Господи, прости
и поскорее к небу отпусти!

Сладкая мука

1

Нет сил с утра,
а надо б их иметь,
чтобы исполнить продолжение:
все нажитое удержать в уме,
переболеть лишенья.
Да! Были. Давность. Пустота
теперь. Провал, готовый оживиться
виной, проклятием суда.
Порхнуть –
и стать в мгновение птицей,
а там уж – словом и строкой...

О, эти сны и превращения,
преображенья под рукой,
как вздох печали и прощенья!

Беспрекословная жена –
отрада мне – подруга Муза.
В награду эхом – тишина.
Прочнее нет союза
земли и неба. Полоса,
полоска – дымка горизонта.
Слезой омытые глаза,
глядят светло и зорко.

А силы все же соберем,
развяжем сей тяжелый узел,
оплатим горести добром...
И трюмы сызнава загрузим!

2

Чем одарить кого? Пуста казна.
Какой бы пир я закатил вселенский
во всей красе любви и блеске
на грани пробужденья – сна.
Младенческого.
Что мне снилось?
Осталась только божья милость,
смиренно павшая стена.

А жизнь прожить –
ресницей сдвинуть стены,
поднять, отбросить потолок,
снять занавес с паршивой сцены, –
там басом грезит тенорок...
Но баритон виолончельный
в запасе держит, бережет –

как за бугром сокрытый
пчельник,
где жала сладостен ожог.

Яз*!

– Весна! – мне говорят.
– Да, да, весна! – я отвечаю. – Яз!

Казань вдруг расцвела
тюльпанами Востока.

– Дай, дядя, дай! –
мне Азия протягивает руку,
себя стесняясь. – Дай!
Весна для беженцев – спасенье.
Цветут халаты!

Я – тоже беженец.
Бегу сам от себя.
Рифмач – как вроде бы скрипач.
Весною отменяю рифмы,
как зимние одежды.
О, этот флейты вскрик призывный:
– Яз!
Что в переводе протяженней:
– Весна!

И эту ноту я несу, беглец от никого,
все примечая по дороге:
собаку потерявшуюся,
семечки торговли,
разбрызганную грязь
и солнца капельку
в глазу
бездумной женщины...
Оттаивает сердце –
Яз!

Путь

1

И все-то слышу,
как шумит родник
в овражке. Умиротворенно.
Шиповник головой
к нему приник,
а рядом – чистит перышки
ворона
на чистой гальке...
Слышу, вижу я,
как будто бы уже из отдаленья.
Родник блестит, живая чешуя
ложится холодом.
А позади – селенье
глубоким вздохом

на закат плывет...
Я продолжаю путь
по городскому кругу.
Что ж, повидались:
там была любовь,
как лунная монетка в руку!
Мгновенье длился
этот сон и шум.
Быть может, повторится снова
в безмолвии. Его не сторожу.
Он сам придет, не ожидая зова.

2

Я смысла жизни не ищу:
иди, гляди...
Но с кем я разговариваю?
Садится солнце,
но восходит зарево.
И сердце стучает: еще чуть-чуть,
еще чуть-чуть.
Пень отыскал. Немного раздышусь.
А дальше как-нибудь:
под горку и – по роще.
Скороговорка сердца:
ну, еще чуть-чуть!..
Откуда грусть?
Перед глазами лица, как на ощупь.
Мерцающий, трассирующий путь.

3

Был долог сон, так долог...
Ни потолка, ни стен.
Луны осколок.
Береза в изголовии моем,
догадываюсь смутно.
Коры белеющее утро...
Вот и проснулся. Жив покуда!
И ветви смел со щек,
со лба их смел...
Зачем ты приходила?
Мы проживем немножечко еще,
держась за теплые перила,
о косяки, незыблемую твердь...
Во сне красиво просто умереть, –
береза рядом! –
никого не клича...
Все так доподлинно обычно:
иметь – или не иметь?
Клониться головой к земле.
Нам то, что ново –
то привычно.
А в безднах сна
сто крат милей.

Плач

И тень, и свет...
А звук, тот, между прочим, —
плывет, гнетет.
Чем тише, тем слышней.
Но детский плач —
он глуше всех пророчеств
и болей тягостных больней.

Который час
свою волынку тянет,
свивает петли с резвого клубка.
А то, как тигр,
скребет о грудь когтями,
расшвыривая воплем облака.

Чего ты хочешь?
Я не жег, не мучил,
не замутил слезою родника!
О, темный плач!
Все глубже, все горячей
журчит из-под колоды тайника...

Иголки тоньше, изощренней жала
обжившего потемки комара...
Так уголек сомлевшего пожара
воспламеняет высь
в иных мирах...

И вдруг обвал. Покой.
И серп сверкает,
прозрению внезапному родня.
Так-то душа металась
неприкаянно
и плакала, земной удел кляня!

* * *

Тишину бы в себе собрать,
как братьев
за столом просторным
в день сентября и серебра:
«Ну вот и осень!» —
выдохнуть с восторгом.

А над столом, чтоб неба глубь,
а под рукой — стекло и ягод
капли.
И паутины свет
задержанный на лбу,
смешного паучка
царапнувшие лапки.

Какие были игры!

Безумный вихрь подхватывает.
А годы уж не те.
Тень рядышком идет
всклокоченная,
ворчит как будто:

«Пора бы палочкой
обзавестись!»

Но кровь другое знает,
шумит без берегов...

Огонь последний, огонь прощальный
сквозит по чернолесью.
И отблеск беспощадный
на сумрачном железе.

Кристаллы льда в морщинах дерева
наращивают иглы.
А лес стоит растерянный:
«Какие были игры!»

* * *

Во тьме веранды ты стоишь.
И снег идет касаясь веток.
Меж тьмой скользит,
меж тьмой и светом,
пустынный снег...
Дотронься лишь,
и он испуганно мелькнет,
отпрянув от тепла ладони.
Небесный гость,
как вкрадчиво он тонет
вблизи, вдали.
И ни к кому не льнет.

Во тьме веранды ты стоишь,
до родинок прочитанная вроде,
но тайная...
Есть таинство в природе,
а протяни ладонь, дотронься лишь...

* * *

Я люблю эти сумерки
исповедальные,
ветви елей, опущенные глубоко.
Голоса оживают забытые,
дальние.
Тихо как... и легко.

Хоть бы шорох закрался
тревогою,
гость явился, раздвинув кусты...
Лунный серп одинок над дорогою,
не опустится он с высоты.

И светло за излучкой
и пустыню.
Только взгляд подними от земли —

кто-то машет крылами без устали
на вечернее пламя зари.

Будто сняты с груди
гири тяжкие.
Дверь открою — а там,
за столом,
все-то родные, все-то пропащие
говорят о былом.

Местность

Эта местность холмистая, мглистая,
где уродцы берез бегут,
чуть одетые бедными листьями,
только шепот с обветренных губ, —

мне, как воли глоток болящему,
когда ясен исход и срок...
Дни, выскальзывающие
ящерицами,
мыслей высветленный ручеек.

Изгибаются рельсы. Шпалы
в каплях дегтя. Свободен путь.
Даль, разбросанная как попало,
опоясала шелком грудь.

Облака неупавшего снега
человеческих выше дум.
Там за краем воды и неба
льется шум, льется шум.

Мираж. Июль

Удлиняет ночь облака,
ветки скрещивает.
Музыка входит в души деревьев.
На ступеньках сидит
молодая женщина.
Дремлет.
Мальчик звенит,
подражая будильнику.
И распахнутой рубашонке.
На щеке сон шелковый
и слезы, просыпавшиеся
из копилки.

Женщине дремлет, —
женщине чудится —
перья облаков еще светлы, —
свадебка гуляет
на дальней улице,
белеют столы.

А она плывет, а она всплывает,

руки раскидывает для любви,
Ночь не пугает голубая,
вьюн голову обвил.

И голос зовет ее заблудиться...
Веки приподняла.
Мальчик капризный
светлолицый
сдернул скатерку со стола.

Блудный сын

Кусты толпились
в бедненьком саду.
Ползучей тенью тополь
был стреножен.
Приговоренный к вечному суду,
стоял. И голос был тревожен:

«Чужую речь ты взял
себе подругой,
вертлявую.
А свой презрел язык!
Ходи же блудный по земле,
ходи поруганный!
Придет гонец на сходе уразы*
и призовет...»

Собрал легко пожитки.
Стучалась моль о мутное стекло,
молчанья золотые слитки
тяжелой мглой заволокло.
«Ани**!» – позвал.
Но не ответил сумрак.
«Ати***!» – вздохнул.
Легла тропа к луне.
И пахла осень
брошенной шкурой.
Сады нищали. Воздух пламенел.

Откуда этот голос неотвязный?
Чего ему – глумиться и томить?
В холодной пашне сны
по грудь увязли.
А он все тянет тоненькую нить:

«О, сын Аллаха, потерял дорогу!
Остановись!...»
Покрыт росой лист.
Есть бог. Очаг.
Есть темный свет порога.
А дальше все лучи пересеклись.

* * *

Два окна в старинном доме,
два широких, лунных два,
полных неба. На ладонях

свет, как легкая вода.

Я стою в квадрате лунном,
мальчик, от роду пять лет,
беззащитный, босый, глупый,
как стрекозка на стекле.

Кто зовет меня оттуда,
тенью ловит? Звука нет.
Я – как пленник,
мглою окутан –
фотографией в окне.

Он меня, конечно, видит,
этот темный и немой,
от него струятся нити,
крылья дышат за спиной.

Куст в сторонке затаился,
прянул, сад перебежал...

А за ним – толпою лица,
перепажана межа,
рельсы, плачи, гром оркестров,
гон и пена у виска,
дыбом вставшая окрестность
от бетонки до леска,
похоронки, причитанья,
погорельцы, ржавый снег,
умноженья, вычитанья,
кожура с землистых век,

дом вповал, навывлет окна,
хруст усохшего гнезда...

Близко все, и все далеко,
как летящая звезда.
От начала дней повязан
свет и взгляд таким узлом,
что заходит ум за разум,
как гроза за горизонт.

Где те окна, два экрана,
два широких, лунных два?
Беспощадный ход романа.
Свет, как легкая вода.

Отчуждение

Как собака боится разъединения
приручившей ее семьи,
собирал и смыкал мгновения
вокруг твоего имени.
Время щеку обтекало в согласии,
кокон свивало из ткани дней.
Расставшись с бессмертьем,
сходились классики
пображничать без затей.

На огонек. И текли столетия.
Как слезы невинных детей,
воспоминанием о вечном лете,
о дикой пляске дождей...

Я знал, что время мосты сжигает
и закрывает в прошлое дверь.
Лоза бездыханна, вчера живая.
Только вечность не видит потерь.

Но разве пламя ножа боится?
Дни возвратились в календари.
Слово, превращенное в птицу,
и глухого разговорит...

Хожу над водой, закованной
в камень, —
забыла, как литься и петь,
мертвенно лижет губами
фонарей серебро и медь.

А смех все слышится, слышится,
вспархивает
с классических страниц.
Как тебе за веками дышится
в водовороте лиц?

Паденье снега

Да, да, конечно, надо бросить
все привычное, отринуть,
к столу ладонью припечатать:
«Только так!»
Смотреть на снег скользяще,
между прочим,
как наблюдает балерину
мешочник из глубинки,
ухарь и простак,
свою, однако, приценив картину:
какую-нибудь Настеньку,
Настену на лугу,
и ни гу-гу...

А снег, он будет падать,
будет падать, воспаряя,
рассеиваться, расселяться,
умножаясь на себя,
в сутробах будут девушки
заигрывать с парнями,
крутиться пес меж них...
Я так люблю собак!
Которые не на цепях,
а — белый звон в зубах,
что копят шелк и глубь волны
в бровях
и облизнуть лицо
при встрече норовят,
внушая только злым дням страх.

Ну что ж, виденье за виденьем,
удачи жалкой грош,

О бедный свет
беззвучного паденья снега!
И жизнь под горку на санях.

Пока прогуливаюсь, слушаю.
Сойти с ума, какая шалость!

Сойти с души – почти блаженство!

3

Из отдаления слежу
за странною фигурой
среди оврагов сереньких, подталых.
Плывет, погружаясь и вновь возникая.
Так ведь это я сам! –
с трудом догадываюсь.

4

Лед на окне подтаивает,
течет слезками.
Навестить бы детей,
Омолодиться бы, что ли!
Все цветы вглубь ушли,
а снаружи – невзрачные корни.

5

Семечко Слова проращиваю
в восхищении сам от себя
на небесном поле.
Душа полна черноземом душистым.

6

Каждое утро приносят
сутаны и мантии.
Я небрежно отказываюсь.
Но нет! – наряжают,
бедняки при деле.

7

На перекрестье Истины
жалким распят.
Зренье оставил душе,
взволнованной казнью.
Стоит и глазеет,
бессмертная девочка.
Ни пылинки на ней, белокрылой.

8

Выпевается невозвратимое,
Звуком губы поглаживает:
– Улым! Бялекаем!
Избяная утварь снует.
Каймак густоснежный.
Козленок тычется в руку,
обездоленный,
шерсткой покрытый
в перворожденьи.
Всякое слово под язык кладу,
согревая слюной.
Она – и скопилась
в озерцо родниковое.

9

А елочка в снегу
блюдет свою красу

с помойкой рядом.
Самостоятельна в иголке каждой.

10

Через снег, через хлябь
в чрево матери возвращаюсь
для очищения. К мякоти прирастаю,
погружаюсь в теплые воды.
Темячком, темячком
слышу сердцебиенье.

11

Ясновидящий призывает.
Пойду темнотой наслаждаться.
А про меня он знает,
что меня нет.
Есть он – и только!

12

Мой сыночек вон там,
вон там,
за облаком
веснушчатой рожицей прячется.
Все дни закапал слезами.
Ждет, не дождется.

13

Сто цифр соединю в одну:
а ну-ка, разгадайте!
Как с пустяком управился?
Уж будет смеху-то
над недотепами.

14

Снимите «щелк!» с лопаток!
Спина терпеть устала
замки прищемливающие.
А этот ключник
качает башмаком башки.
Я помню численник,
календарей не знаю.
Из щелков дни плету.
Хорошая работа. И – чистая.

15

Цветок продрогший
снегом накрыло.
Как ему холодно,
один я знаю.
Тяжелы потолки.

16

По стеклам хожу
в блеске алмазном.
Вымыт, причесан, чисто младенчик.
Прогибаются стекла,

но кровать железною остается.

17

Все глубже, глубже я зарываюсь,
крот несчастный.
А свод — выше и великолепней,
сияющий.

18

Расхлопнуло раму.
Ветер вошел поздороваться.
Решетки ему нипочем.
Успел по головке погладить.
А тут уж вязать!

19

Весь паутиной опутан.
Осень уже...
Может, зиму отменят!?
Уснуть бы на крыле бабочки —
и не проснуться.

20

Вспомнил!
Теплом обложили. Белым.
Понесли по краю земли.
Облаком стал.
Благодать какая!

21

Глаза выплывают из стен.
О чем вопрошают, неморгающие?
Из темноты откуда они?
Целый день хозяев ищу.
Непостижимы утраты лиц.

22

Муравьи заселили мозг.
Копошатся.
Подглядеть бы, чего они строят.
Черепушка гудит.
Весь чешусь, как муравейник.

23

За краем земли отец потерялся.
Зимы приходят оттуда.

Мать накрылась травой.
Выползли корни наружу.

Голодной, замерзшей собаке
луну лизнуть ничего не стоит.

Обманчива ночь до умопомрачения:
сны ярче жизни.

24

Вспомню походку ее уходящую
и заволнуюсь.
С каждой весной
все дальше уходит.
На холмах не бывает прохожих.

25

За холмами – река.
Красная глина подсохнет,
бугор за дымкой
горлом кувшина покажется.
Облачко пены над ним.

26

Обрадует – и улетит.
Считаю пятнышки коровки божьей.
Два усика ощупывают воздух.
Кругла, опрятна,
как сундучок с секретом.
И небоязлива: все при ней.

А я слова коплю,
дрожу над ними,
великан перед скорлупкой.
Обрадует – и улетит.

27

Этот, который выкрадывается
шепотками, шепотками,
намекает, гримасничает.
Почему с балалайкой всегда?
– Лопнет струна – помрешь! –
хохочет.

28

Чую,
покрылся комочками вербными.
Грудь умягчается.
Под веками пух.
Неужто бессмертен?!

29

Кому достанет сил
вслед камень брошенный
поднять как драгоценный?

30

Мелодия мерзнет среди стволов
сироткой,
бессловесная, безъязыкая,
никого ни о чем не просящая.
Нить мгновенная капли видна.

31

Снег сбрасывают с крыши,
как с души слетает тяжесть.

Хлоп! – и вздох.
Глубокой паузы всходящий пар.
Раскрытой раковины перламутр
слоится воспоминаньем жизни.
Сияет всей доверчивостью тайны
непознанной.
И снова – хлопок! –
Поденка снежной пыли по стеклу.
Холодок предчувствия в груди.
Я – мальчиком – над погребом завис.
Дух снега лицо оглаживает.

32

На листке березы
хотел записать слова Бога.
Настигли меня.
Зря потратил листок.
Бог не любит усердных.

33

Трещина за деревьями дальними.
В нее бы влезть и пропасть.
Уместился бы, протиснулся бы.
На месте трещина третий день.
Расширяется, расширяется.

34

Белая тень согревает. Недостигаемая.
Молюсь на нее.
Нимб окружает голову.
Волны – чешуйками.
Серебро от каблучков на полу остается.
Возгорается, перебегая,
Не уловить.

35

Восходящий столб меня уносит
от мусорной кучи жизни.
Вихрь игольчатый жалит,
испепеляет.
Шкуру меняю, о господи!

36

Промелькнули дни, улетучились.
Пар остался на стенках стекла.
Откатились глыбы-тучи.
Жизнь себя превозмогла.

Через кручи

* * *

Мне чаще лики тех, которых
вблизи не увидеть
ни в улицах, ни в коридорах,
являются привет послать.
Журчит блескущая вода
и капли падают с весла.

Я восхожу или под гору
качусь тяжелым валуном,
все занят прежним разговором
и пьян невыпитым вином.

Так беседуем друг с другом,
ничто не в силах разлучить
с тоской мистической недуга...
А надо б ноты разучить
других звучаний – громче, тише...
Да что поделать, не могу!
Живу под сгинувшею крышей
и грею кости на снегу.

Река

Я преклоняюсь пред рекой.
Реку. Река со мной.
Волны коснуться ли рукой?
Мне дорог холод, ласков зной.
Но не дано дружить с зимой.

Да, тот же я и безупречен
по руслу, в заводях, в корнях.
Река течет по вольной речи.
Излука оживит меня.

Сижу, пригорбившись, на валуне
при солнце, при луне.
Того достаточно вполне.
И звук крадется по волне.

Ожиданье

Все замерло.
Не изогнется лист,
изнанки не покажет.
Черна вода,
как ночь без сна.
Спешит домой ходок
с худой поклажей.
И вслед ему глядит с бугра сосна.
Иголкой не качнет.
А туча тяжелеет,
не выдаст замысла грозы.
Но там... но там,
в чащобе, зреет шелест.
Свет срезал тень пробежкой косы.

И гуд, и гул.
Как будто сушат сети
над рощами
в ошметках ржавых тин.
В ладошки бьют,

на небо глядя, дети.
Я жду раската,
с давних пор один
перед волненьем леса, поля, луга,
взволнован сам, тревоги не понять.
Вот вихрь.
За ним бежит подруга.
А тут и дождь спешит ее обнять...

Однако не дано завесу отодвинуть.
К словам во глубь веранды ухожу.
Но все мне дышит ожиданье в спину.
Качает колыбельку ветра шум.

* * *

Уходят мои погодки
в непредсказуемые погоды —
дожди и снегопады —
за тишину ограды.
А мне остается память —
чуть зыблемое пламя, —
я ей освещен, не боле,
как месяцем бледным поле.

Вдали от дома

Плыть лебедю в неге и пене
под сенью темнеющих лип.
Невидимо всходят ступени.
Ласточка жметя в щели.

Как долго свежит, вечереет
от дома родного вдали.
Тень матери в поле чернеет
у самого края земли.

Так зоркому видится сердцу.
Безлюдно, безмолвно везде.
Осталось на тень опереться
и босым пойти по воде.

Нездешний

Хорошие дни миновали
под громом на сеновале.
Как змеи, мы кожу меняли,
лед и огонь целовали.

Окликнуть — кого? Оглянулись —
нет старых ворот, нету улиц.
Стоят мавзолей-домины,
попробуй-ка с места их сдвинуть!
Другая, колесная, юность

несется. Глазуньями луны
шипят. Поспевай, друг сердешный!
Нездешний, гляжу?
Да, нездешний...

* * *

Ах ты, птичка-невеличка,
не с тобой ли перекличка
в поле и в лесу?
Ты несешь, и я несу.
Солнце копится в глазу.
Ты – по выси, я – внизу.
Правит нами легкий звук.
Запоешь – я тут же смолкну.
Посинели мои окна.
Запою и я потом...
Вот вернусь в родимый дом.

Погибающий ангел при Полярной звезде

В погожий день и в день ненастный
зовет Полярная звезда.
И светит мне.
Мой труд напрасный
со мной всегда.
Бегу я всякого суда.

Да, да, напрасный труд, всечасный –
мелодию вложить в слова.
Мне говорят: и музыка угаснет!
Зрит ночь сова.

Зачем пришел на эту землю?
Бессильны чистые крыла.
И тяжести уж не поднимают.
Жизнь умерла.

Но ты зовешь и освещаешь
путь погубительный давно.
Затолкан в угол я вещами.
Глазам темно.

Идет тут мена, распродажа,
дележ, скулеж и суета.
За подвиг почитают кражу...
Слеза мелькнет,
как тень с моста.

Но я сошел... И нет обратно
того же гордого пути.
Не отыскать сестры иль брата.
Кому – «прости»?!

Гортань немеет, пламенеет.
А ты зовешь. Я – тяжелею,

земною горестью пленен.
Где Бог-отец, там угли тлеют.
Не слышит он.
Я сокрушен. Былое – сон.
Лишь ветер прочь кругами ходит,
да только сердца не находит.
Мертва его узда.
Гори, Полярная звезда!

Беседа

Конечно, трава завянет,
ударится желудь о твердь.
Задумчиво с дядей Ваней
за жизнь говорим, не за смерть.

Погладит ладонью он доски:
«На что приготовил? Кому?»
Покажется, носим обноски
в давно уже к сносу дому.

Тут рядом топор и рубанок
для гроба, стола, лежака...
Сушеными пахнет грибами.
Обрыв и река в двух шагах.
А возле – на клумбах цветочки,
над ветками – птица всегда.
Молотят свое древоточцы.
Бессмертная льется вода.

Не всякая жизнь на закланье,
а все-таки – на износ
от непомернейшей клади...
Мы этот решаем вопрос.
Под водочку, под малосольный
колечками огурец.
«О чем ты грустишь, малахольный?
Ведь был, говорят, молодец!
Не молодец...»

Тихо, спокойно

Ненарушаем покой.
Заморские блага на кой нам,
когда синь и свет под рукой!
Под сердцем. Как доски, охранны
для радости и для беды.
Сидим, точно странники в храме.
Куруется отечества дым.

А лодку чуть свет просмолили.
Отчалит, должно быть, сама.
«Не запоздает зима...»
На посошок!
Мы так рассудили.

* * *

Учись проигрывать, сынок,
достойно покидая сцену.
Замкни уста на крепенький замок.
Уроки истины бесценны.

Ты станешь первым, дай-то бог!
Последним быть труднее.
Беспечно ласточка над миром реет.
Крест коршуна небесно строг.

Адам

Здесь, под ветлами, серебром обсыпан,
стою. Надо мною колеблются своды.
Шумят у дороги березы босые.
Перебегают зеленые воды.
За пригорком – селенье
мычит коровой, собакой взлаивает.

Я вдалеке от всех опасений,
не касается меня вражда злая.

А желанная мне в гробу стеклянном
спит. Ее не расколдуешь.
Не оживишь и раскаленными углями
красивую, надменную, молодую.

Умытый росой, день просыпается.
Вечность, как девица под венцом,
облаком укрывает легонько лицо, –
узкое кольцо горит на пальце...

Ева ждет в дачной халупе.
Козье молоко в стакане белеет.
И сама белогруда. На сене приголубит.
Зевота дневная потом одолеет.

Не хочу уходить от ветел туманных,
пересыпающихся – синь, свет.
Душица, однако, пьянит, дурманит.
К дому кладу след на след.

Иудей

Было так много нелегких дней,
как и у всех людей.
Прошедший пустыню, сидит на пне
задумчивый иудей.
Он все вспоминает родного Христа,
проклятие на устах...

Я тоже стар, я тоже устал.
Призывала меня высота.

Читал Коран, суры учил.
Измучил себя зазря.
Среди наглых женщин и злых мужчин
кормила меня заря.
И Будда случайно ко мне подходил,
Конфуций медью звенел.
Я тень свою видел в черной воде.
Но... что-то очнулось во мне...

О иудей, страдания брось!
В обетованный край поспеши!
Предательства ты
доглодал паршивую кость.
Огляди владения души.
Ты побывал у меня в гостях
на вырубке. И – прощай!
Погибшие деревья тебя простят.
Тени сойдут с плаща.
А Слово живучей – «Распни!» нести
тебе в глубь веков...

Прости меня, грешного,
Боже, прости!
Прозрение велико.

Надежда

Море омывает стопы.
Света воспрянут столбы
на горизонте.
Солнце раскроет свой зонтик.
Откликнется вздохом грудь.
Выпрямится путь – дальше и выше!
Бог разве только услышит:
в раковине жемчужина дышит.

Раковина

Раковина голубая,
глубина тебя
укрывала тиной.
Песчинка любая
приют и покой находила,
свиваясь в клубок единый.
Время текло.
Звук превращался в стекло.

Качали солнца и луны.
Лед погружал в сон глубокий.
Легкой была, юной,
по весне многоокой,
недоступно-далекой.
За грядой гряда.
Дней безрассудная череда.

...Берег.
Раскрытые два перламутра
сияют, радуя глаз.
Раковина зажглась!
Прошлое облаком смутным
уходит,
На солнце смеясь.
Доброе утро, счастливая!
Доброе утро!

* * *

На языке тревоги и печали
я говорю на рубеже эпох.
Куда же кони гордые умчались?
Синеет у тропы чертополох.
Везде мотор сжигает ярость шины.
С небес на веки опустилась гарь.
Забыли мужество мужчины.
Луна несет над полночью фонарь.

Мой зыбок сон. Себя преодолеваю.
Бреду, а пахота черна.
Никто не ждет за полем, за горами...
И даже эта боль обречена
усталой быть, томить глухим повтором
кукушки. Долог в горле звук.
Я где-то наверху над мрачным бором
угадываю посветлевший круг.

Облепиха

Горсть желтых бусин облепихи...
Когда-то и меня любили –
взбегали волнами –
и вдруг притихли.
Так представлялось
с радугами вместе,
с благою вестью,
росой, лугами, дождиками пьяными.
И – фортепьянами...

Тоска осталась. Засмеркалось.
Унылы зеркала.
Примолкла шумная река.
Гармошка отсмеялась,
валяя дурака...

Вот горстка ягод облепихи.
И тень распластанная пихты –
почти японская гравюра –
моя никчемная фигура.
Пришла – ушла...

А будет все и впредь.
Оправданы потери.
Неправда ль, просто умереть

здесь, на пригорке,
не дойдя до двери.

Но замысел-то был хорош:
быть всюду, не нажив хором.
Куда вошел, туда не вхож.
В запасе есть всегда Харон...

Однако горстка ягод облепили.
И вздох: когда-то и меня любили.
Себе пригодного лепили,
слезами окропили...

Пожалуй, стоило б еще пожить.
Поленницу пригожих дней сложить.

* * *

*В день рождения Анны –
девочки из мира других измерений*

1

Как трудно это одолеть!
Врастая в жизнь все глубже, глубже,
когда пурга в груди погуживает,
себя прошедшего жалеть
над зеркалом весенней лужи...

Меж тем, вот руки на столе
лежат, прилежные для службы,
а прежде ты не знал, куда их деть, –
на струны бросить или на плечи...
и перышки по одному терял...
Лежат, холодные, неужто стали легче,
воздушнее в покоях января?
Но помнят первое прикосновенье,
то самое – летучий, быстрый ток,
неповторимое мгновенье,
хотя и прошумел поток
и ласточка не в наши сени...

А струи все летят, летят.
Ты сам, как юркая ладья
в объятьях брызг, в водовороте,
не знаешь, как перебороть их,
по руслу выпрямляешь взгляд
до края...
где вздох, должно быть, сладостен
и краток,
зато всем телом, корневищем жил...

Так трепещи, непрошенная радость!
Ты на пределе эту жизнь прожил.
А снег кружит еще, кружит,
тебя, как пчельник, заселяя.
Под сердцем веточка дрожит,

на мятежи благословляет.

2

Тот дом меня проглатывал,
как руку варежка.
Я лестницу перелетал.
Теперь не та верста, не те лета.
И нет уж лесенки-чудесенки,
Ступени есть, всходящая гряда
унылой серости...
И девочки в помине нет.
Как время беспощадно
к желанной хрупкости примет!
Чужой! Глаз искоса ухватит
скользящий взбег глухого платья...

Но гром давненько прогремел,
сносилась прелесть ситца.
Нет в колчане каленых стрел.
О чем стучит в стекло синица?
Я прилетела! Сбрось свой груз!
Сходи на первое свиданье!
Прими на посошок – и легче станет!
В морозы хороша с ожогом грусть.

Я ничего не позабыл.
Живу на вечном переломе
суровым мальчиком в погибшем доме
и стариком на медленном пароме,
узлом скрепляя их союз
земною и небесной силой уз.
Их можно вмиг местами поменять,
вот только занавес поднять
струящегося снега...
И яблоко в ладонь
уронит небо.

* * *

Да, старость вызывает сожаленье
и сопричастность некую к усилию,
и ежечасное самосожженье
светила, разговаривающего с синью.
Зато дано всеведение в награду:
«Утешься. И – перемоги!»
Угрюмому лишь птицы-звери рады
и задыхающиеся старики.
Что до молодых, их уже не надо.
Есть дом в распадке. Тусклое окно.
Там тишина, там в зной прохладно.
Для прочих дел все сущее темно.
Еще дитя приходит подивиться
и не пугается разъятого лица –
переворачивает яркие страницы.
Жизнь через край. Смеется без конца.

* * *

Две ягоды со стебля снял
и – сът.
Взлетают над землей кусты.
Вращается блесна.
Я пойман, усмирен.
Не плещется вода.
Здесь будто не был никогда.
Рокошет гром.
Гроза всезрячая ползет.
И столб остолбенел.
Раздула туча зоб,
созревшая вполне.

А струнка все дрожит
над солнечной грядой.
Меня ли сторожит своей игрой?
Но близится гроза.
Притихла грудь.
Пути уж нет назад,
замкнулся путь.

* * *

Сколько раз погибал!
Вновь и вновь возрождался.
Плавники отпадали,
хвост змеей уползал...

Зимним утром младенец
смеялся, смеялся.
Разжимал удивленные пальцы.

* * *

Здесь моря нет, но шум я слышу.
Волна все ближе, ближе
ложится, грудь мне холодит.
И чайка над песком летит,
та, одноногая когда-то...

О, как мне видимо, однако,
минувшее, тоска, давно былая,
живет, закатами пылает.
Так музыка бежит
в молчанье клавиш
и гладит сумрак лба крылами...

Нигде сирот, спасаясь, не оставишь.
Запомнилось и запеклось.
Торчит, как в горле кость,
приют и синее пространство.
Кому скажу я завтра:
– Здравствуй!
Когда всю даль похоронил,

впечатал имена в гранит...

А тут вот шум, и парус одинокий,
и клекот чайки одноногой.

Тень

Солома подушек,
солома матрацев хрустящих.
И хвостик, дарованный
хищно-пружинистой ящерицей.
И вишни, и яблони,
имя округлое – Волга, –
плывет по крови
серебристого звона иголка.
Плоты по реке, огоньки, огонечки...
Оставляю в покое я прочие многоточия.

Но там моя тень
над обрывом зависла,
и это исполнено, право,
глубокого смысла, –
от корня сосны,
от замшелого мягкого края...

А сам я лечу,
до сих пор на лету обмираю.
Белеют внизу крутолобые
влажные камни.
Что делать вот с этими горе-руками?
Стареющим телом – что делать,
что делать?
Лечу, задыхаюсь.
Как сладко не ведать предела!
Но тень моя там –
притаилась, взметнулась,
зависла.
И это исполнено, право,
глубокого смысла.

Хозяин

Раздавлен, расщеплен,
культю уставив в небо,
он все бежит по той войне, ополоумев...
А здесь, под снегом,
выглядит нелепо,
охваченный, как пеплом, новолунием.
Хозяин!
И, должно, еще кормилец.
Дойдет ли до ворот...
в порожек ткнется...
Ногою неживой сто лет уже в могиле,
а глазом олова
глядит во глубь колодца.

Что видит там, в бессилье замерзая?

Кочан зимы подтаял желтизной.
Какие угли ворошит в сознание
меж твердей двух под белою луной?

Дух поколений сыплется снежочком.
А он далек от всех земных забот.
Одна под ним родная дочка – кочка.
Мир неприступен?
Лег на этот дот...

А рядом девочка
пасет свою собачку,
сыта, обута, – ей нетяжело.
Но этот, свернутый в калачик,
покуда жив, морщинисто чело...

Он перетерпит. В лоб земли упрется
культей. Себя поволочет
до той глубы немереной колодца,
подставив миру твердое плечо.

* * *

Кому-то и грех во спасенье,
кому – на последний редут...
А ветер то с юга, то с севера.
По шелесту люди идут.

День ласков. Не я заблудился,
а каждое деревцо.
Перетекающие лица
хотят воплотиться в Лицо.

Не ветер, но – вздох,
как на зеркальце
сквозь сон. Всюду сухость царит.
Размеренно бьется сердце.
Пригрелся в сторонке старик
с младенческой рядом коляской,
уже не взволнован ничем:
глаз вспыхнет – и тут же погаснет
огарком нетленных ночей.

И нет проходящих мимо.
В природе все ясно давно:
горчащая горсточка дыма,
сгорающих листьев вино.

Потерям нет образа, чисел.
И будущее предreshено.
Над прошлым скучает учитель:
дыханье и то сожжено.

А здесь дуновение прозрачно,
не призрачно. Мотоциклист
глядится медузой невзрачной, –
над ним опускается лист
в замедленно – длящейся съемке.
Мир – линза. Блистает сосуд.

Качается купол высокий.
По шелесту люди идут.

Всяк след свой по золоту метит
стопой, а промеж – каблуком
на целой земле, на планете,
как должно. И – испокон!

В гостях

Дороже времени примет
дерюжки темной мне подробность:
картошка, пар, заминка, робость,
лохмотья дырок на ремне...

Всегда в гостях, всегда при ком-то...
О том пустое говорить –
ведь все равно порвется нить
меж тем, что есть и что укромно.

Я не о жлобистом притворстве,
бог с этим пиршеством во зле,
не о глухом противоборстве,
не даже правде на земле...

О звуке, точно ущемленном
под горлом сонной хрипотцой...
– Вот гость, от корешка зеленый,
явился, грешный, на постой.
Побудь...

И в гостях бываю.
Ем, сплю. Попросят – запою.
И голову клоню свою,
о домочадцах забывая.

Кем-то убитый

Приподнимаю тяжелые плиты,
но тяжести – никакой...
Поляны солнцем облиты,
над цветами покой.

В деревне топят бани,
хотя повсеместно тепло.
Бычки стукнулись лбами.
Прозрачно запело стекло.

Живут дорогие мне люди.
Околица любит гостей.
Я подле недолго побуду,
без лихости прежних затей.
Задвину безмолвные плиты.
В глубь темным-темно.
Когда-то был кем-то убитый...

Другого понять не дано.

* * *

Полуостров Крым
мглой покрыт.
Перебирает четки
под перешелки.
Вскрики капризны
где-то у пирса.

Напев

Усталость во все времена
душевной водой заливалась.
Звучала, срываясь, струна.
Но боль про запас оставалась,
блаженная боль бытия,
чтоб дальше жилось, уставалось
среди бестолочья, битья...
То счастьем все ж называлось.

Потемки, узда, сеновал –
все сызнава, скрип колыбели,
постанывающие жернова,
с наличников проблеск капли.
Истома. И тот же напев,
врастяжку, скороговоркой.
Не манна, а пепел с небес.
Дым сладостный, темный и горький.
Слеза под крутым кулаком,
платочки, весенние ситцы...
Что вспомнишь с улыбкой потом,
успев к косяку прислониться.

Вижу

Все вижу, вижу гладь озерную,
скамейку...
Сто раз сидел на ней обыкновенно.
Но вот опять, как вспомню,
разбухают вены.
И по крови играет, расплетаясь,
змейка.
Да знаю, окажусь вблизи –
и заскучаю.
Тень огляжу на водах блеклых леса.
И уточка, возможно,
приплывет нечаянно,
слегка взволнует, но темно и бесполезно.
Ужели так отныне и – до гроба,
в прозрачной осени загоревал надлом,
где, обогнув осоку, пролегла дорога
и женщина ушла, пустым оставив дом?
Что ж с отдаленья к прожитому манит, –
какая в том нужда и сожаленье?
Стоит вода, вода... слезой в тумане.
И слышен лай с примолкшего селенья.

Мой стол

Мой стол давно потерял
запах распила,
он пахнет жильем терпеливых слов,
истерзанных, но не постылых.
Так пахнут мертвые пчелы – пылью,
так пахнут крылья неведомых снов –
когда-то минувшею былью.
Здесьгнулись крыло и весло.

Здесь совы стенали, вино проливалось,
сходились мосты, расходились мосты.
Солнце из ночного провала
вторгалось, переворачивая листы.

Он взял меня в плен,
но руки летают свободно.
Лежит океан, как собака, у ног.
Я счастлив – мне одиноко и больно.
Голову гладит задумчиво Бог.

Ночевки... Брели одиночеством кони.
Он был как становье – дымы и зола.
Арканы, задышка. Погони, погони.
Смеющаяся земля.

О, мой добрый стол! Великолепный!
Всю эту муку познал.
Глядят в мирозданье глаза.
Плененный – не пленник.

Снежок

Он растает. Не спасет, что вкрадчив.
Так задуман ласковый обман.
Вдруг баском заговоривший мальчик
утро освещает лампой лба.
На газоне клонят стебли астры.
Подворотня вьюгою кипит,
машет сослепу газетой старой.
Потемнела тяжесть гладких плит.

А снежок порхает беззаботный,
льнет к теплу и гаснет над губой.
День-свеча, замедленно-субботний,
на каемке блюдца голубой.
С глаз долой! – отбросил кисть художник.
Водочки плеснул в стакан.
И глядит на снег, судьбу итожа,
как в безбрежном поле истукан.

* * *

Теперь уж до весны.
Прощай, избушка!
Перетомись, переболей.
Нашепчет что-нибудь на ушко
зима. Секретов нет белей.

О черноте ночей ты больше знаешь
любого одиночества. Промерзнет печь.
Шаманит вьюга над Казанью,
бессвязна гипнотическая речь.

Как привидения не скрипнут половицей,
так слово не нарушит тишины.
Декабрь казенной станет мне больницей,
в пустыне снежной не сыскать жены.

Давно я болен. Нету излечения.
Роскошно молодость сивуху льет,
не придавая старости значенья.
Буграми нарастает лед.

Но ты, изба, бог даст, меня дождешься.
Капелью прозвенит стекло
и тихой песней успокоит дождик,
трава залижет старые подошвы.
Я вострепел: от сердца отлегло!

* * *

Беспокойство, беспокойство...
Крик младенца из-под поезда,
проносящихся колес.
Взблеск металла из-за пояса...
Громко вскрикнувшая ось.
Ось земли... Очнись: как будто
и не жил, – бело в окне.
Снег скользит многоперстовый,
очистительный... Живой!
Кто, струя на веки утро,
подходил тайком ко мне?
Верно, так впервые Слово
восходило над душой.

Три стихотворения

Пловец

Море свитки раскатывает.
Вечен бег.
Да жилище во тьме небогатое
под восходами, под закатами, –
грезит парусом человек.
А по днищу давно уже трещина.
Тяжелеет волна.
В дымке слабо видна

среди сосен заблудшая женщина.

Это – бред, переплавленный зной,
звук призывный, зеркальный –
амфор, раковин, весь – неземной.
Исповедальный.

Кто же там, вдалеке,
возникает виденьем, –
следы на песке,
две сомкнувшиеся тени?..

Я тебя так любил.
До сих пор
не разнять шорох крыл
в отдаленье,
где под парусом плыл,
преклонивши колени,
своенравный пловец...
Среди снега очнулся.
Только гул в голове.
Берег льдиной прогнулся.

Полет

Что мне в этих словах,
подернутых пеплом?
Погружающиеся острова.
Вьется пламя над телом.
Ангел в облаке белом.
Остывающая голова.

А вокруг синева.
Восхожу, взлетаю.
Держат только слова
над следами.

* * *

Снег оседает, игольчат.
Годы уходят. Тлеет фонарь.
Ящерки хищно изогнутый кончик –
весь календарь.

День убежал, прищемивши полоску
света в тяжелых дверях.
Старая девочка с юной прической,
снег на бровях!
Горлышко дышит – вижу и слышу.
Сетка морщин.
Где наши быстрые лыжи,
смех без причин?
Жалость и та банальна –
Боже, повremени! –
девочку в платице бальном
к свету лицом поверни.

Вон ведь и в талии ломка,
рысью напряжена.

Что мне ее головка,
глаз тишина?
Все! Зажигаю свечи,
да на старинный лад.
Лихо конец заверчен:
полупривядший взгляд
тушью слегка очерчен,
да невпопад, невпопад,
влажно глядит и строго,
выставив локоток,
поздняя недотрога,
непогубительный ток...

Но пролистнем календарик
и – как с обрыва, вниз!
Жизнь на последнем ударе
больше, чем просто жизнь.

Два стихотворения

* * *

Снежок, как парашютный шелк,
проскальзывает, льется,
искрит с бровей, с ресниц, со щек...
Мороз и солнце!

Грудь отдается холодку
всей сердцевинкой робкой,
пьет по глоточку, по глотку...
Как сладок вдох короткий!
Потом – глубокий, долгий вздох
до самых недр предельных.
А купол неба так высок
и заселен, как пчельник.
Творец – художник, режиссер –
ушел к себе в кулисы.
И дышит вольностью простор:
не грим, не краски – лица!

Облезлый мех воротника
под инеем наряден.
Из варежки спешит рука
нырнуть зверьком к ограде.
Миг – и опять улезла в шерсть.
А глаз уж наслаждался:
живем! Блистательная весть,
двуоковыпуклая линза.
Сад зимний в спячку погружен
в узлах и узелочках.
Но дума... вот проснусь уж –
и вставлю лыко в строчку! –
на лоб наморщилась, скребет.
Февраль и правда скоро, –
земли задышит огород,
подломятся заборы.

А за кремлевскою стеной

ликует перспектива
зари с подпалиной земной? –
Небесная картина!
Вдруг ахнешь: снег ушел наверх.
Как занавес убрался.
И высь звенит, как детский смех
в рассыпчатом пространстве.
Как близко радость и повинье!
Глухая ночь
свечу к лицу придвинет...

Я, ветку обломав калины,
сизу и думаю о том –
деревья руки оголили,
дупло глядит раскрытым ртом...

Неужто я повержен, свернут,
как свиток или письмецо?
Гляжу – покрытый пеплом ворон
косится глазом на крыльцо.
Любуюсь чистым опереньем.
Погладить – не достать крыла.
Отпущена стрелком стрела.
Над перелеском – песнопенье.

У Родины нет старости.
В любое
ее обличье облеку –
над ней все пламя голубое
и цепи лодок у реки.
Все те же избы, огороды,
овраги, ветлы, облака, –
неистлевающие годы...
Здесь тяжесть всякая легка.

* * *

Изадора боса и распущенна.
Обожает рязанского Пушкина:
– О-оо, мой гени... Пиано, пиано!
Мальчик-ласка, маленько пианный...

Ты, любовь, может быть – наказание.
Много ль муки для сердца надо?
Тлеют два озера под глазами.
Ходит дождь, как садовник по саду.
И такая тоска и надсада.

Перевернутые лодки
успокоились на берегу...
Ты не думай, походкой легкой
от тебя, дорогая, сбегу.
Серый камень изъел мою душу.
Кличет утица в камышах.
Засыхает старая груша.
В сене мыши тихонько шуршат...

Изадора под пледом задремлет.

Сыплет Млечный на крыши зерно.
Стукнул желудь клювом о землю...
Разве жить, где ни жить,
все равно?

* * *

Памяти А.Блока

Быть нежным, элегичным,
но не в автобусе, не в электричке,
а – на исчезнувшей катиться бричке,
где птица не поет, но – кличет.
Быть первозданным, не вторичным...

Я пойман родиной с поличным!
И – уличен...
Бог видел, травы приласкал я,
дожди мне песни расплескали,
мне колокольчик прозвенел, –
смеялась истина в вине.
Побывали в гостях...

На чужом, право слово, пиру
очуметь, под рукой не согреться.
Да, однако, все тянет игру –
соки тянет притихшее сердце.

* * *

Дерево не падает к ногам.
Его сваливают.
Обезглавливают.
Освобождают от корня.
Завершается танец
топора и огня
над горем обезумевшей птицы.
Долго зияет яма.
Черные слезы земли никто не видит.
Стон глубокий никто не слышит...

Но колыбельную мать поет,
немая.
А петельки переговариваются.
Смотрит луна вечной сказкой:
что-то знает она о дереве,
укачивая младенца.
Луна ощупывает его темечко,
как проросшее семечко.

* * *

Тоскую по хорошей вести.
Моя опора – лишь слова.
При остальном я словно неуместен:
оглядываю полночь, как сова,
зарывшись в сумрак.
Фиолетов мир,

дрожит в хитросплетеньях
заплат и дыр.
Скудны мои владенья.
Вестей же нет. Я негатив читаю,
луною освещен:
вот-вот и встрепенется стая
и отряхну я пепел мглы со щек.
А весть рассветная все медлит.
Души раскрыты словари.
И капельки росы стучат о землю
с зари и до зари.
Но подружки не видно нигде.
Только смутное эхо осталось
на тропинке, на взбеге тропы,
где синела снежная пыль...
Да, такое мне показалось.

.....

Чище лилии белой нет.
Продают на углу любые –
и багряные, и голубые.
Но не лунный блуждающий свет.

* * *

Подрезают деревья.
Мои руки слабеют.
Кровь чуть дремлет, чуть дремлет, –
или вправду белеет?
На прощанье апрель
разжижает потемки.
Смята грубо постель,
на окошке – потеки.

День субботний, слепой,
до удушья отечный.
Голубою водой
уже взрезаны почки:
налились не к поре
многотрудным терпеньем.
Слезы льют по коре,
сиротеют деревья.

Что ж вы так, что ж вы так
расстарались, разини!
Даль дымком повита
впрямь по краешку жизни.
Завтра вспыхнут листки
на лозе. Май наступит
продолженьем строки,
взбитою пеною в ступе.

Режут – звук по костям
от корней перебегает.
Нерожденной листвой шелестя,
ветви голые погибают.

* * *

Они придут. И тени уберут
свои. Вот здесь же, у порога.
Подумают: окончен труд,
оборвана всходящая дорога,
однако долог будет Путь...
Уже опущены смиренно веки,
похолодела грудь,
погашен лицезрящий зрак...
Звезда споткнулась в беге.
Всевластен мрак. Но в небесах заря.

Просты ли сборы и соборованье?
Собравший тени выплывает на свет...

Стучит, молотит в голову сосед,
относится он к делу со стараньем.

И бьется сердце гулко, не попад,
просчитывая жадно промежутки.
Натянут нитью удивленный взгляд.
Спокойные над словом дремлют руки.

Сентиментальное стихотворение

Чище лилии белой нет.
Так пахнет лунный свет,
ниспадая снегом сквозь ветви.
Жаркого августа струи
холодеют в листве.
Угасающих губ
полужизнь, полубред.
.....

Это было в какой-то избе.
Пятна лиц над белой подушкой.
Я погладить руку успел
деревенской подружки.

Чисто выстелен скромный покой.
Мальчик, как и запомнил все это:
неподвижное далеко,
лунным снегом осыпалось лето.

А внизу, под обрывом, в воде
стая лилий плыла – расплывалась...

Под мостом

Памяти Георгия Иванова

Под мостом тоже благо укрыться
и в свое заглядеться корытце.
Пусть проносится стон колеса!
Это только ведь так говорится,
что рукой не увидеть лица.

Между тем вот оно, под ладонью, —
пробежала мгновенная дрожь! —
молодое, немолодое...

Снег сошел, и осыпался дождь,
и подглазья царапнули листья,
чуть царапнули, пронеслись...
Так положено: времени — длиться,
а водице — все литься и литься.
Как обманна кромешная высь!

Ну, а ты, под мостом подобревший,
одинокый вблизи суеты,
иноходец, отринутый леший,
через камень вдыхаешь цветы.
Ни сумы, ни укромной поклажи,
над тобой гулом поднятый мост.
Твой шалашик одноэтажен,
и, как правда крестьянская, прост.

Жизнь понятна и обозрима.
Поменяются «завтра», «вчера»,
Псков и Лондон, парение Рима,
Иссык-Кульская темень-жара...

Мост хрустит. Надвигается утро.
Но черна, беспросветна вода.
Вскрытой раковины два перламутра.
Жизнь, исполненная навсегда.

* * *

У грозы глаза раскосы.
Древняя Казань мочит косы.
Зудят осы.
Обжигаются щеки оспы.
Плач Сююмбике
повис вдалеке.

Будет шорох огня.
Примолкшие двери.
На песке, на камнях
птичьи перья.

Что? Откуда? Зачем?
Непричастному знать ли?..
Лишь мерцанье очей.
Ворот слабого платья.

Волна

В перемещение листьев
мои картины, терпеливость кисти
блуждающей...
В овражке родничок
заждался. Припаду — воспряну.
Кто замысел таинственный прочтет —
вон ту, обрызганную лютиком
поляну?
Или шум сосен,
мглистый полустон,

вершинный перегляд
закатного дозора...

Я вспоминаю детства древний сон
над пепелищем грозного разора.

И вот омылся.
Снова чист сполна,
ухожен, свеж.
В клубок свернул дорогу.
Понес ее.
За мной спешит волна
прильнуть к привычному порогу.

* * *

Вхожу в огонь.
А кареглазая смеялась!
Три лепестка ей
пламени принес.
Такую малость!
— Вот все, — сказал, —
что от меня осталось.

Слабой музыки звон.
Тени ласточек рядом.
Да внизу тонкий клен
у ограды.

Чуден долгий полет.
Я паду у порога.
Не тревожьте меня,
ради бога!
Воздух солнышки льет.

Через годы

В ладони лицо окунул.
Так всплывают в луну,
погружаются, тонут...
(Все-то ближе
к дому родному,
там согреют, не проклянут...)

Усадила за стол.
Мед и чай — угощенье.
Запах смол.
И — прощенье.
Плавит золото печь.
Никакой укоризны.
Бессловесная речь
выше жизни.
— Я пришел...
— Ты пришел!
Мы просушим одежду.
— Мне с тобой хорошо.

– Я хранила надежду...

Не сказалоь то вслух,
затомилось.
Как томится в лесу
полуночная сила –
вздых и хруст, шепоток,
полулепет, угроза
и связующий ток,
запоздалые слезы,
пней глубокий распад,
вечный гул сердцевины,
голоса-паруса
под опекой невинной...

Ночевка

Белы свечи превращаются в огарки.
Ночевал я в старом доме у татарки.
Плов с изюмом, каймак, сок березовый.
Жить без женщин на земле – жить без воздуха.

Спал как есть на полу под стрехою,
убаюкивала гармонь над рекою.
А татарка молитву шептала,
камни четок в ладонях катала,
меднолицая и при месяце,
что в окошко глядеть принаметился.

Не вздыхает лишь тот, кто таится.

Край льняной, золотистый, ситцевый,
весь кожуркою лука обсыпанный,
принимал ты пришельца за сына...

Шаль пуховая, черные вишни.
Вскриком воли на свет белый вышли.

Успокоились четки: – Заснула?
Полумесяц плыл над аулом...

Дышит тело и сонно, и пряно.
Вспоминают и радость, как рану,
в темноте жарких губ одиночество,
жажду. И все, что захочется.

К утру будет паром – и сплыву я
в непомерную даль голубую...

* * *

Ушла. Но осталось свечение
серебра по черни
из блесков снега.
Звук ворохнулся птенцом в гнезде.
Весь – воображение,
я засыпал в блаженстве бедер,

затишающий зверь:
придет – и разбудит.

Вождь

Радость – излишне сосуд хрупкий.
Воздвигнут в небесных горах для гибели.
К нему протянуты смертных руки,
раскрыты исповедальные книги.

Степь затужила по плачам и гикам.
Кровью умоется – зацветет.
Никто на свете быть не смеет великим.
Все, что радостно – то грядет.

Я умру вместе с вами. Пройдем, однако,
этот счастливый путь,
на котором не найдешь одинаковых.
Отстоится муть.

И будет литься радость на землю,
полова сама отойдет.
Мы уходим! Зачатие дремлет.
Никто не спросит: тот? не тот?

Да, я зову вас. Забудьте жалость.
Жены останутся и сторожа.
Мы просто в долгом сне задержались.
Кому положено, те должны рожать.

Готовы?.. Вой огласил степь...
К радости надо успеть,
презирая смерть!

.....
Только вдруг заиграла дудочка.
Ах ты, дудочка, вечная дурочка!
Пробежала по воинству дрожь.
Зачесалась под сердцем вошь.

.....
Взмах руки. И все кончено.
Беспросветными станут ноченьки.
Где ты, радость? Куда сокрылась?
Одинокому сердцу что снилось?

* * *

Нищая моя любовь
просит милостыню
в самом людном месте
у красивой витрины из безделушек.
Голый манекен на нее взирает бесстрастно:
какая ты жалкая! какая ненужная!

Ли Бо и Ду Фу на рассвете

*Почти 1300 лет назад жили два великих китайских поэта.
«Бессмертным пьяницей» Ли Бо зовут на веки вечные.*

Ду Фу

В декабре болею российской угрюмостью,
согреваю в руке горькую рюмочку
в полной безлунности.
Со мной разговаривает Ли Бо,
давно уже дряхлый, слепой:
шелестит шепотком про любовь.
Бессмертный пьяница Ли Бо!

Что-то знает о тайне убогий старец,
рукава широкие худобе достались.
Двадцать капель – и пьян скиталец!

Засыпаем, под третье тысячелетие,
на циновке, с мечтою о лете.
И нету дела бессмертью до смерти!

Я, рисующий только круг и линию,
вдруг начинаю видеть луну и лилию.
Краски во всем изобилии!

Утром Ли Бо плох с похмелья,
и рядом шутник Ду Фу.
Языком ворочают еле-еле:
– Время движется лишь в подземелье!
Вместе с ними и я плыву!

Конечно, подлечимся. Дух улетучится.
Останусь один совсем ненадолго.
Буду считать пролетающие тучки.
Кто считает, в тех мало толку.

– Здравствуйте! Как рассветается? –
Это опять на пороге Ли Бо.
На доньшке для нас что-нибудь останется.
Пожалею погибающую любовь.

...И рядышком шутник Ду Фу,
словечко вставит в строфу.

* * *

«Что было, то прошло!» – она сказала,
как будто узел завязала
и кончик нитки откусила.
Дул ветер, листья относил.

С лица сошла последней ласки мягкость.
Она в глаза мне рассмеялась.
Дверь стукнула – дом охнул,
не отозвались дребезжаньем окна.
Все вмиг осиротело,
ни образа, ни мысли не хотело.
В подушках головы осталась вмятина.
Надкушенное яблоко на скатерти...

Прошло немало лет. Я получил привет:
«Что было, то меня настигло!

Спасенья нет и утешенья нет.
Откликнись, милый!»
Донеслось – и стихло.

Я город перешел, как речку, вброд.
Как семь оврагов перешел глубоких.
И воздух жаркий уходил из легких.
Воспоминаний таял лед...

Всему награда есть. За жажду – утоление.
Но как молчание преодолеть,
огнем сырые оживить поленья,
увидеть яблоко бывшего на столе?!

Обидный смех и тот не повторится.
Мелькнули ласточки. Сносились ситцы.

* * *

Первый день зимы радует светом,
вечер тревожит,
ночь мозжит.
Дребезжащая песня стекла
обрывает затянувшийся сон.
Кокон тугой обнимает тело
одиночеством.

* * *

Тропинка ныряет в кусты.
И травой покрывается, как заговорщица
или притворщица.
Не видна ни одна горбинка.
От восторга сорока трещит,
путь указывает от суеты.

Сколько прошло здесь
женщин, мужчин
к полянам. Полнехоньки туески!
Подальше, поглубже.
Ни паутины тоски.

Тишина большая, опрокинутая.
Тропинка спряталась.
Ах, вот ты где!
Под веткой калины
с птенцами в гнезде,
влажная, следы колышешь.
Дышишь.

* * *

Когда, изгибаясь спиной,
она мне дарит себя,

палит меня душный зной,
я – всадник – мечусь в степях.

И нету других путей.
Как жадно грудь ее пью!
Что знаю я о беде?
Высокое солнце люблю.

* * *

Маленькая баловница
крапивою жжет.
А то щебечет, как птица,
пружина круглый живот.
Я рад ей и ночью, и утром.
На что соль утех поменять?
Жуками блестящими кудри
всего обнимают меня.
Притихшие, на веранде,
два зеркала, рядом сидим,
слабо лицо ее гладит
сигареты дым.
Колени полураскрыты.
О-оо, мы отдыхаем сполна!
Перья роняем с крыльев.
Ласкает волну волна.

* * *

Вскрикнет –
и распадется.
Отпустит глубокий вздох.
С березы осеннее солнце
скружило листок.

Но вся она в лунном свете.
Прохладна колодца глубь.
Заснет, как дитя, не заметит.
Капризна припухлость губ.

И что ей с того?
Да, устала,
исчерпана, истомлена.
Ведь только сейчас прошептала:
ничья теперь не жена...

Дымком будто тело повито,
горелым, душистым дымком.
Забыты потери, обиды.
Качается лодочкой дом.

Куда мы плывем? Неизвестно.
Откуда стожок и шалаш?
Пусть станет в сочельник невестой!
Пока я при ней ее страж.

* * *

Крыло на земле отдыхает.
Одета береза птицами.
Взлетят! Дерево затихает.
И у меня сон длится.

Мягкость словесная
много ли значит?
Перед глазами крыло маячит:
я-то вкусил заземленность
в опрометчивую полночь,
полеты со склона.
Млел, переболел влюбленность.
Крыло любит! Кошка хочет взлететь.
Человек решает: иметь – не иметь?
А крыло парит. О чем говорит?
Слышишь меня, слышишь ли?
Под сердцем – крылышко.
Такое золото я заварил:
две тверди крылом соединил.

Вздох

Какая мерзкая погода
на вечной мерзлоте,
хотя рукой подать до Бога!
Бугром возвысился злодей.

Охота – жизнь. Жить неохота
среди беспамятных людей,
среди униженных, погибших...

Для вертухая-фарисея
без роду-племени устав.
Над ним ни облачка Христа.
Костями полегла Рассея.

Убий, коль «не убий» убили!
Зола по коже проскользит,
как злоба шин автомобиля,
не виноградный свет с лозы.

Ах да, ах да, над Колизеем
незыблема доныне тень.
Соль остывает на железе.
Осточертела канитель.

Но дева движется по веку
и ножкою зрачок мятет...
Последней влагой истекает млеко.
Сухой распахнут рот.

* * *

Вы сами все бежите естества,

вкушая повеленья плоти...
И что Азорские туман и острова,
невидимая в полночи сова,
качающийся в бездне ботик?

Богач владеющий... А чем?
За что купил
свет греческих очей?
Купил – убил.

Я проклиная нищенство свое.
Но и сова гнездо совет.
И ботик доплывет...

Но, Господи, спаси ее!
Пошли разящее копье.

Бессмертник

Сегодня схоронил еще одного дон-кихотика...

(Из письма)

Я только то и делал,
что хоронил и воскрешал.
Себя? Быть может.
Цветочки нес, сжимая в кулаке.
Пчела пыльцу роняла
на щеки отрешенно.
Одна дорога
стелилась под ноги,
минуя свалку.
А там – бессмертник рос,
невзрачный, жесткий,
почти бесцветный.

И надо ж, стариком его погладил!
На вечных провожаньях-
воскрешеньях
жизнь улетучивалась одуванчиками.
Да, да,
бессмертника я все-таки коснулся!
Оставил свалку позади.
Продолжил прежний путь.
Какое постоянство!
Бессмертник вслед смотрел,
как одинокий сторож.

* * *

Детям своим мы недодали ласки.
Загоревали на ржавых корнях.
Леса перед стужей безгласны.
Ветви устали слезы ронять.

Тонкорукая радость уже за плечами.
Там каждый нерв обнажен.
Лики измученных жен
исходят, как солнце, лучами.

Увяданье торжественно на исходе.
А дети ушли, утекли сквозь камни.
Как расточительно все в природе!
Ушли, утекли сквозняками...

Смех, плач... Предзимье? Однако,
капилляры вяжет в сон-узелки.
«На-ко, пряник! На-ко, на-ко!»
Звук, выходящий из-под земли,
совсем неприкаян. Повсюду смерклось.
Блеснула стрекозка – и нет.
Печь забелела. Очнулось зеркало.
Тополь рваный повис на окне.

Тоже кино. Ведь себя хороним
ежевечерне: дитя к дитю.
И кроме детей никого нету кроме.
Где же ласточка? А просто – тю-тю.

Последний ребенок из сердца вынут
и соборован. В груди провал.
Перед кем считаем раны и вины?
Чья правда единственная права?

Беженцы мы. От себя ль убегаем?
Больше вопросов глухонемых –
вьются, колышутся над губами:
мы – не рабы, рабы не мы!

Рыбы, деревья... уже в дремоте.
Спячкой прихвачен, стихает поток.
Глыба земли увязает в ремонте,
но циркулирует ток.

Вспышки

Бодрящий утра холодок.
Туман сошел, убрался понемногу.
И вспыхнул рыжий хохолок.
Сосед задумчив, у ворот подолгу,
на палку опершись, стоит,
Теплом случайным согреваясь,
над ним блуждает туча грозовая,
но свет покуда поровну разлит.

А дальше вихрь расхватит, понесет
охапками щедроты запустенья,
и вот уж нет ни проблеска с высот,
тень побежит, сходя с ума, за тенью.

Как хочется по-пушкински сказать
об осени забытым слогом:
мол, так и так: идет, закрыв глаза,
беспечная краса по логу,
и шлейф за ней влачится по пятам...

Так ненадежно все! Но, слава богу,

меняются и свет, и тень...
От сожаленья, право, мало проку,
когда то вспыхнет, то погаснет день,
не предугадана, как сон, дорога,
что сбудется – и то подумать лень...

Но колоколец слышится.
И шапка набекрень!
Жизнь возвращается
к истлевшему порогу,
в родную сень.

* * *

Море омывает стопы.
Света воспрянут столбы
на горизонте.
Солнце раскроет свой зонтик.
Откликнется вздохом грудь.
Выпрямится путь – дальше и выше!
Бог разве только услышит:
в раковине жемчужина дышит.

Полдень

Подгребла под голову сено –
и заснула
грудастая Вселенная, круглые скулы.

Женщина, далекая от балов,
от богов тем более.
Тяжек был улов
с поля до поля.

А вокруг мошки вьются,
вызолачивают нимб.
В каждой жилке дети смеются,
которые родиться могли б.

И небо к ней благосклонно,
прогрета земля.
Не вспугни ненароком, Слово!
Женщину и Богу тревожить нельзя.

Дитя

В хрупком теле разговаривают небеса.
Узлы развязываются.
Девочка стоит под вязами.
Светлая полоса – темная полоса.

И чего в ней такого,
что внушает жалость,
как в поле одиночество стога –
жизни усталость?

Переходим миры. А она – стоит,
безучастный стебель природы.
И глазом не косит
на пень уродливый.

Величавость земли беспечная,
как высказался бы поэт.
Легче пуха, звезды легче
над ужасом бед.

Для нее птица захлебывается,
ветка клонится.
Уместилась бы вся
в капле солнца.

Незамутненный дарован день
вдали отшумевшей свары.
Надо бы уберечь детей
за пазухой, как подарок.

Дом рушится, сгнили столбы.
На блюде горит свечка
знаком колеблющейся судьбы,
от зрачка до зрачка перетечным.

Золотоволосая.
Как она движется!
Так на нитку бусины нижутся.
Круглые коленки толкают воздух.
Я, как на страже, невидим возле.

Утреннее преображение

Подробность мне нечаянно дана,
как песенка случайная ребенка,
собирающего ягоды.
А тут к тому же яхонты
рябины... Все негромко,
точно пузырьки со дна,
где жизнь укромна,
или – пустынная дорога,
с бугра сползающая в лог,
или луны тавро от бога
на рассвете,
когда трава подмокла,
стены, стекла...
капельные сети,
скользит от кадки ручеек.
Но ты здесь ни при чем...

Оставив женщину,
я вышел в сад,
босой, от теплого порога
шагнул – и пробежал озноб.

Но небеса блестят.
Прохладен неба лоб,

я словно бы рукой его потрогал.

Сажусь к столу, душа настороже.
И слов не надо много,
лишь те, которые мне по душе.
Вокруг все улеглось, примолкло,
и россыпи гвоздики на меже...

За буквой буква –
мелодия торопится уже,
встречая утро.
Светлым-светло
на дальнем вираже,
о чем свидетельствуют окна.

Имя

Иные выпадают имена
из памяти, как бледные кристаллы,
другие – дремлют, словно семена,
всегда живые, время не настало
им прорасти...
Но вот и вспыхнул час:
оно явилось, твое имя!
Еще чуть-чуть, и колос приподнимет,
звездой сияя по ночам,
крошечный август нитью прорезая...

Земной выюнок до облака взошел,
сорвался вдруг –
и в раненом сознании
запечатлел свой маленький ожог!

Нет, ничего не позабылось.
Дай времени во мраке отдохнуть, –
глядишь, и сердце радостно забилося:
выюнок, звезда вместились в одну грудь.

Я по холмам брожу,
плещу в ручье ладонью,
но женщина всегда везде со мной.
Над головой сиянье золотое,
небесное, с подпалиной земной.
Никто об этом так и не узнает.
Ласкает август, к осени спеша.
Бок о бок тень бежит косая,
потерянная некогда душа.

* * *

Веселым вихрем
вскинуло дорогу.
Залопотал осинник.
Ветла вздохнула.
Понемногу
бугор подернуло косынкой синей...

Я вышел к озеру, оно – кипело,
расчесывалось гребнем белым.
Упав на воду, почернела тень.

Который день я был один,
который день
молчал... И хлынул дождь.
По лесу полоснул сверкущий нож.
Распалось воздуха стекло.
Мне стало вдруг светло.

Веранда приняла исхлестанного,
с гулами в груди.
Все было хорошо и просто
позади и впереди.
Ни сожаленья малого.
Свобода! Вот и все.
Дождь монотонно травы сек.

Лучинник

Глубины для того, чтобы таиться
и родники на волю отпускать...

Склоняются, переменяясь, лица –
на них и радость, и тоска.

Но кто-то зрит спокойно свысока.

Подольше, карантин, держи
в узде поэта!
На лбу его рубцом дрожит
трагическая мета.
То Луч небесно полоснул
перед грозой кромешной:
переаукнулось в лесу,
расхохотался леший.

Я вижу всадника.
Лучинник. Липы...
Мне Болдино вовек не прочитать.
Кто скачет там – любимый, не любимый?
Кому привет подать?
Подале чуть берез чета.
И речка Пьяна... До глубин ли?
А родничок вот тут!

Мой друг, и мы с тобой любили,
не почитая за великий труд
обвалы ревности, сомнений буреломы,
и гнев, и страсть, предчувствие беды,
и купол неба над собой огромный,
с распадков поднимающийся дым...

Да расшиби хоть горизонт текущий,
не вырвешься, не оборвешь аркан!
– Что хмур, Лександрыч, хуже тучи?
Гуляй, как атаман!
– Да не гуляется. Конь сбил копыта...

Зато перо спешит.
И чаша допита.
Смеется василек во ржи.

Мечта

В войну мечтал о самокате.
Колесики гремели мимо.
А после затужил о лыжах.
К Подлужной мчались на дощечках.
Конец войне. Велосипед стал сниться:
Эх, прокачусь! По веку изгибался руль.
В глазах двоилось. Зрочки смеялись спицами.
Колеса мимо проносились.
Торжественно мечту похоронил
и валенками притоптал в сугробе.
Тогда над снегом всплыл огромной
черной глыбой рояль.
И я заплакал от бессилья.
Трагедия, достойная Шекспира.
Но тоненькое перышко скрипело по листу,
слова соединяя.
Дыханием согретый воздух стены раздвигал,
отбрасывал небрежно потолок.
Другого неба с той поры не знаю я.
Побойтесь нищим ненароком меня увидеть.

Паром

Паром разомлел. Кто о чем болтает.
Никто не спешит никуда.
Расчесывает волосы красавица молодая.
Мягонько поплескивает вода.

И я – с собакой у ног – притулился.
Глаз коровы светло глядит.
Облако льется, как плащаница.
Зеленый покой течет по груди.

А рыжий поет, прислонясь к гармонии
щекой. О неизбывной поет любви,
меж берегами поет-хоронит,
да свет всплывает из темной глубины.

Люди сидят чуть-чуть призадумавшись.
Будет берег – свое возьмет.
Я позабыл, есть сватья и куманьки,
на поминанье – липовый мед.
Я позабыл, как любят, милуют,
пестуют... Бог их прости!
Кто во сне не видел пригрезившуюся могилу?
Рыжий, слышишь, меня отпусти!
Не томи, не мучь, не строгай лучину.
Барбарис на обрыве уже отцвел.
Постелю на сене широко овчину,
стану обдумывать житие свое.

Вот сбегу по сходням — и заволнуюсь,
пахнет на меня вековым жильем.
Корочкой золотой запеклась юность,
распушилась по вороту рваным швом...

Плыву! О, как тепла дорогая собака.
Берег надвигается, неумолим.
Слово поперек — и я кинусь в драку
за прошлое могил.

Паром укачивает, благодушествует.
Корова не опускает взгляд.
Я знаю, природа имеет чуткие уши.
Волосы расчесаны. Свежа земля.

Гребень заснул в руке молодухи.
Сейчас, слава богу, причалимся.
Но долго будут преследовать духи:
о ком тужили, о ком печалимся?

Жалко зачем-то собаку. Мы с ней уместились
на этой большой реке.
Подумаю после, она мне приснилась.
А поводок-то в моей руке.

Ой ты, паром, корова, красавица!
С берега на берег нелегко переплыть.
Гармонь не зря примирить старается
простенькое: жить — не разлюбить.
Прибыть или вдруг запоздать?
Оправдаться...

Держи подольше меня, паром,
в печали моей, возле чьей-то радости!
Что было ново, то давно старо.

...Ах, собака, ты, моя собака,
мы к кому с тобою приплывем, однако?

* * *

Ночь белый город возвела.
С зарей блеснули зеркала
во двориках, озвучив лед...
И кажется, струна поет.
Любуйтесь! День встает,
поглаживая темечко свое.
Проветривает ветхое тряпье.

Спокойно изголовие мое.
Мне белое творение любезно
и так роскошно-бездарно...
Знать, поздно год слезу прольет.
Снежок подкрадывается кордебалетом
из-за кулис в раскрыл ворот,
порхает и платочки вьет.
Бело-то как! Рукой подать до лета.
Пускай мне снится это.
Жизнь пламенеет на изломе.
И снег, и лед в испарине, в истоме.

Кромешных бед неспорно...
Вот села птичка
и о чем-то стонет
на ветке.
Кто жалобу пернатой разберет?
Светло, пустынно в доме.
Но крестики остались на балконе, —
кто залетал в мой огород?

Гармония

Я — рыба, но давно двуног.
Из плавников земные кости вышли.
Клюю рябину, яблоки и вишни —
круженье птицы мне доверил Бог.

Итак, я — рыба-птица-человек,
соединил в себе концы, начала.
Люблю речные сумерки причала
и чайки крыло, и волн разбег.

В глубинах прячу скорпиона яд:
храню сокровище и не даю пролиться.
Скорее вырублю под корень сад
в глухой тоске самоубийства,
чем уязвлю беспомощную тварь.
Мне черный замысел, увы, неведом.
Вдохну и выдохну из бронхов гарь,
как темный ужас выдыхают недра.

Да, да, я знаю, краток бренный век
отдельной жизни, размыканье век,
ток крови... Но существованье
лишь промельк взгляда по канве,
задумчивое волхвованье.

Но даже там, где путь прервет игла,
споткнется о безмолвье слово,
мое крыло продышит вздохом мгла
и розовый плавник восколыхнется снова.

* * *

За кругом круг. Поэт поэта
спешит сменить.
Изучена дороги этой
необрываема нить.

А кто ее над миром тянет
из беспросветности на свет
к любви, гибели и тайне?
Ответа нет.

Есть ряд могил. Узлы кореньев,
сошлись и так переплелись
во мгле пересотворенья,
что позабылась живость лиц.

Но нить бежит,
нить вьется, вьется.

И Слово дышит под рукой,
как глубь вечернего колодца,
как синь рассвета над рекой.

Вечерний свет

Жук-бронзовик ударился о стену
и лапки подобрал.
Куда вечерний свет я дену,
косую тень бугра?

Неужто старость колыбель качнула?
Младенец сладко спит
в глубоком рукаве аула.
Дорога не пылит,
сама себя давно забыла,
окаменела соль.
Повеяло теплом опилок...

Сажусь за стол.
Я наработался. По мышцам – нега.
Распил сосны плывет в глазу.
Младенец спит.
Над ним спокойно небо.
А старость длит,
воспоминая звук,
с бугра ли,
с поля...
Свет вечерний
перебегает. Лес притих,
как сердца метроном в груди...
Вечерний свет,
сыновний свет,
дочерний.

* * *

Окружила толпа деревьев
неразумного опекать.
Все во мне затаилось,
все дремлет, –
улетучиваются облака.
Защищен и надежно упрятан.
Мамкой теплой береза вблизи.
Чуть пошумливающий миропорядок
не обронит случайной слезы.
Паучок, стрекоза, пичуга...
Ничего бесполезного нет.
Паутины уловленной чутко
в синем воздухе свет и след.
Побывал. Вот и хватит. Довольно!
Расступились деревья: прощай!
Ближе к дому дорогой окольной –
щи хлебать, переслащивать чай.

Сон тополя

Сколько ладошек у тополя моего?
Неисчислимо.
И каждую он мне покажет,
так и сяк переверачивая.
Много радости – много света.
Великан шумит надо мной,
укрывает тенью,
зернами солнце сыплет.

И мне снится:
я строю,
собираю по ветке-соломке
гнездо на вершине.
Слышу – хрустят мои перья,
пух кружится, кружится...

Ночью была гроза.
Я гнездо обнаружил от корней
в сторонке.
Удивился, мир был прозрачен.
Блестело зеркальце лужи.
На земле было тихо.

* * *

Асфальт почернел.
И под тучами низко
светлого облачка
скомканная записка,
позабывтая впопыхах...
Осени пух на бровях
где-то проносишь.
Жаркого воздуха грудь полна.
А у меня – сомлевшие осы
на кресте окна.
Вымокло дерево,
стало мрамором.
Сентябрьские потери
по тротуарам.

Яблоком пахнет Казань,
запахнулась шалью.
Мне бы тебя впустить в глаза
слезной жалю.
Не стыжусь, плачу.
Слижет дождь.
Что ж,
не всякого озолачивают.
Разлучают чаще,
горечью поят.
Девочка пропащая,
уже листопад.
Ночи безлунны, овражны.
В каплях стекло.
Тенью вчерашней
крылышко прилегло.
Вдруг затрепещет,
выхлестнет, обовьет.

Из каждой трещины
пламя твое.

* * *

Столько на свете ступенек!
А мы и поле пройти не успели,
Перейти вон тот
покосившийся мостик.
Дом одичал.
Мы чужие в нем гости.

* * *

Одуванчик мне сообщил,
с холмов добежал его голос:
Я улетаю! прощай! звени ключами!
цепляй на булавки глаголы!

Сиро мне стало, совсем одиноко.
Нет моих шариков, друзей одноногих.
На холмах, где небо, не надо окон.
В трубчатых стеблях ветер лишь запоеет.
А одуванчик устремился в полет.

Оглядел я жилище свое,
потолок мрачноватый.
И мне куда-то улететь бы надо:
тень по стене горбато снует.

* * *

Ты почему пригорбилась в скорби?
Осени плащ на себя примеряешь.
Ласточки где? За горами-морями.
Снежок не задержится, явится вскоре.
Мимолетная жизнь – какое ей горе.
Какая печаль прописалась навечно?
Любил, не любил, кто кого переспорил...
На прощанье зажги сбереженную свечку.

* * *

Ночной пловец
луну выносит на берег
холодом.
Кисти рук бросает вниз.
Стекло медузы течет в ногах.
Женщина сидит на узкой скамье.
– Все-таки ты доплыл, – говорит.
– И завтра... – он отвечает.

* * *

Врезана длинным ножом –

взмахом суровым – мякоть леса.
Осень багряная кровоточит.
Сухо на солнце.
В тени же – лепет озноба.
И ты не приедешь, я знаю,
хотя и всхожу на бугор,
чтобы видеть дорогу.

На пахоте

Обыкновенный камень, не святыня,
из пахоты вдруг показал лицо.
Подуло сонною пыльцой.
Он будет жить на сквозняке отныне,
тревожа путника.
Куда ни брось, везде заблудший гость!

И правда, до него нет дела,
До камня мрачного.
Что мне-то?
Я над ним стою,
свое живое ощущая тело.
Дай помолчать, потом я запою.
* * *

Я волка не видел.
Но где-то, но где-то
мелькнул – и пропал.
Благословляю погибшее детство,
бегущую дрожь по губам.

* * *

Мой август – фолиант раскрытый.
Золотым тиснением
изогнутые крылья.
Листаю год – дни шелестят:
оглядывается август.
А я тихонько прохожу среди могил.
Земля со мною совершает путь.
Мне сообщают: гибнут люди
в междоусобице.
Жалею я, что все не так.

Собака третью ночь
все лает, лает, лает взаперти
за сомкнутым забором:
детей забрали, усыпив ее.

Ко мне с вопросом: есть ли Бог?
Но вопрошающий – сам знает.
Я собираю падальцы.
У зимней яблони красивые плоды.
Мой август, отпустишь к сентябрю,
я – ноябрем посеребрю.

До золота ли нищим?

* * *

Листья киоск окружили газетный,
танцуют на темном зеркале
за мороженною стаей.
Денечки осенние быстро настали!

Миражи

Пятнистой тенью плющ крыльцо окинул,
вьюнок глазками смотрит сквозь него...
Загоревал мой дом среди снегов,
но я спускаюсь в летнюю долину
воспоминаньем... Что мне до того?
Метет, морозно бахрома спадает,
окно все вымерзло... Я молод и здоров,
дышу давно погибшими садами,
встречаю стадо медленных коров,
орех раскалываю...
Знаю, это – старость,
соединенье зыбких миражей,
где розой поднебесной лет усталость
воздвиглась мощью этажей, –
там лампочка или лампада,
а то и солнце под крылом стрижей...
И время года ничего не значит,
ремни слетели с возраста давно.
Кто под плющом, укрывшись тенью, плачет?
Кто здесь сидит, пьет вьюжное вино?
По сути – жизни все равно:
она своих детей не прячет.
Под колыбельную весы покачивает.
Звезда горит. И снег шуршит в окно.

* * *

Два купола на закате
перемигиваются –
большой и маленький.
Поди догадайся, о чем!
А ведь прислушиваюсь,
так любопытно.

* * *

На лапы залив привстал –
и побежал по небу
хищно обнюхивать облака.

* * *

Лучше березы в раме балконной,
увы, уже лучше не будет.

Она протянулась ко мне,
издали – дарит,
каждым изгибом ветвей,
согретая птицами в одиночестве.

Как сиделка, белеет ночами
под лампой луны.
Засыпаю с надеждой:
проснусь – и увижу,
проснусь – и увижу.
Что мне стоит
перетерпеть еще одну зиму?
Она-то ведь терпит.

* * *

Под землей дышат
только корни и кости.
Фосфорятся во тьме.
Кормят деревья светом.
Оттого нежна сердцевина.
Полтинники дождь
просыпал с косиц...

Башня окликнула башню–
и по стене скользнула дрожь.
Как тысячелетье,
прошел через ночь человек
в нетленной одежде старьевщика:
знает, где клад зарыт,
да не скажет.

* * *

О, как об этом обмолвиться?
Свечка в груди стоит,
обливаясь слезами.
Странной влюбленностью я освещен,
если бы знал– к кому.

* * *

Тополь не зашуршит,
коготок не царапнет.
Вдали и вблизи все замерло.
Полновесно молчанье.
Лампу пора зажигать.

* * *

Только-только
месяц пригорбился,
бледен, беден.
Цветок охватил голову
лепестками-руками:
опять превратился в бутон...
Затомился я что-то,
тишиной переполненный.

Ближе к ночи
дорога совсем затихает.
Теряет следы.

* * *

Христос как будто
женщин и не знал,
скользил смиренный,
сокрыв глаза,
меж слов и мены.
И не текла слеза
врачующей измены.

Одна явилась.
Приподняв плиту
грядущего.
Побитая камнями.
Игла, пронзившая беду.
Ее хоры не разменяли...

Освободив стопы
для восхождения,
омытые когда-то...
светло глядел
на поголовное раденье
души и тел.

* * *

Слова потяжелели,
как листья на темной земле.
Отчужденье деревьев настало.
Осень вздор нашептала веткам.
Разомкнулись стволы,
каждый сам по себе живет...
Потяжелели слова.
Зато слаще хлеб ржаной
с чесноком вприкуску.

След

Только росчерк один
моих лыж
сохранила гора всемогущая:
синий воздух в себя вобрала.
Сколько зим! Сколько вьюг!
С новым снегом отчетливей след.
Память ветра рисует не подновляя.
Вихрь находит себя—
повизгивает, защемляет.
След один, а лыжника нет.

Плач совы

Женщина приходит, чтоб уйти

в самый час суровой безнадёги,
когда тени жалки и безноги,
межсезонья замкнуты пути.

Надышала сонное тепло,
простыни сложила стопкой.
Мраморный высокий лоб
омрачился отчуждёньем робким.
Побежали губы. Но слова
ничего, как старый дождь, не значат.
Вспомнишь вдруг, как плакала сова
ночью на кромешной даче.

Все понятно. Не остановить.
Молодости нет уже в помине.
Вспыхнула и натянулась нить.
Не держи, никто в том не повинен.
Надо зиму перезимовать,
выкрутить остаточные жилы,
ненароком не сойти с ума...
Череп ночи взяли – размозжили!

* * *

И годы, и десятилетия,
и полстолетья
я все возвращаюсь.
Не убывает мой Путь.
Одно утешенье – никто не обгонит.
Опоздавший бежит в другую сторону.

* * *

Дом разорен.
Мы сидим на сохранном порожке.
Колокольный звон
плывет по дорожке.
К озеру сойдет,
упадет в осоку.
Тень садов.
Даже плеть усохла.
Родина моя, беспрекословная.
Яблоко в руке
переломленное.

* * *

Помнить бы тебя, помнить,
светлым вином кувшин полнить,
резать красную рыбу и смаковать...
Ночь глядит в меня, как сова,
подобрав когти.
Чужими стали слова,
в глазах – копоть.
Забываю, вот горечь-то!

Наросла корочка.
Не уходи, о, погоди!
Я устал быть один.
Вытекаешь влагою с век.
Белеет память, как тихий снег.

Магдалина

Когда женщина спит,
она самой Магдалины невинней.
И камни все мимо.
В навозе копаются свиньи.
Вселенной никто на мизинец не сдвинет.
Полог колыхнется синий.
А то, что Господь склонился над нею, —
это как онеменение.
Будь он Иван иль Гафиз,
Образ творца — сновиденье.
Тихонько движется жизнь.
Неслышно цветет растение.

Отступила толпа.
Кулак разжался ладонью...
О этот сон! О молва!
Старое — молодое.
Откинута голова.
Запекшаяся смола
древа... Забылась дева.

Спящую женщину я люблю,
благословляю.
На тяжелой мысли себя ловлю.
Дурака валяю.
Храню создание,
камнями побитое,
не требующее дани,
но — творцом не забытое на длани.

Спит, для меня чужая,
на ласточкиной стрехе.
И не полюбит и не ужалит,
спокойна в своем грехе.

Приоткрытая дверь

Одна бесконечная белая ночь Петербурга

Приоткрытая дверь

Даже пойманная, мысль ускользает ящерицей, оставляя ловцу только хвостик.
Подлинная любовь жертвенна и несчастлива, отрицая подлянку.
Ночное окно, освещенное едва-едва, глядит потусторонним оком. Что оно прозревает в тебе, к чему призывает? И ждешь его всегда, совершая свой путь в темноте.
Дыхание любящей женщины сообщает чуть колеблемое пламя свечи. Однако — пора снимать нагар.

Если бы зеркало увидело свое отражение... О чем бы подумало зазеркалье?
В сущности, похвалить себя не грех: большая приятность для работы.
Такой вот каламбур: всякая философия без образа – безобразна.
Презрительный взгляд самоистребляется. А если еще он и бесцветен – тем более.
Человек приспособился к размыканию, а муравьи выстраивают цепочку единого движения. Поближе, что ли, они к мирозданию?

А что? Я могу поделиться мыслью, как воздухом. Ведь и она возникла из ничего, обнаружив простор.

По-своему может объясняться только трава.

Удивительное существо посетило меня в одиночестве – облетело, обнюхало и сгнуло вон. А пыльцу с брюшка оставило в знак благодарности за то, что не прогнал.

О мои тихоследные дни, будьте благословенны! Я на том же месте, где родился.

Женщина срединных лет излучает дурманный аромат, обходясь без духов. А есть в ней все-таки что-то прочтенное, совершенно чужое, слабо проявленное. Никакая она не загадка, а – избег от увиденного.

Кошка вытянулась, возлегла царицей. Это и есть покой ближнего.

Кладбищенский покой смущает и возвышает исподволь: живи! Есть в нем присутствие других. В толпе теней мне, одинокому, отрадно – с любой ограды голоса.

Стою на балконе. Сегодня полнолуние. Дай мне силы, о Господи!

~~Я ведь хороший студент, в воздухе витаю, как будто прощаюсь с жизнью, но не знаю, куда идти. А я ведь хороший человек, а я ведь хороший человек, а я ведь хороший человек.~~

Осень – это прекрасное расторжение кого с кем, чего с чем. Тихое блаженство одиночества.

Дума о возвращении всегда при себе, пусть даже и бесполезна. Куда и возвращаться-то, неизвестно.

Убитая в детстве птица не дает мне покоя. Ее быстротригущие крылья ложатся ... на мои веки.

У человека нет ничего кроме жизни, а он почему-то беспомощно суетится.

Необходимость утешения – желание при любой болезни. Грубость требует смиренной рубахи.

Дух поближе к ране, он бестелесен.

Прикоснулся губами к морозному железу, осталась на нем бледная шелуха кожи. Это и есть Поэзия.

Почему-то возникли и не отпускают давно запомнившиеся строки Поля Элюара: «...одна веревка задушила десять человек, один горящий факел сжег цветущий город, один незванный человек унизил весь народ...» Не потому ли, что встретил беженца на перекрестке.

Можно ли представить, как Сольвейг бежит за бумажкой о расторжении брака с Пер Гюнтом.

Мы еще встретимся. Да, да, обязательно встретимся. Где, когда – об этом лучше не ведать.

Жизнь – всего лишь пролог эпилога. Я ведь слышал, как ударяется ком земли о крышку гроба.

Я обнаружил: смерть – это то, о чем человек боится думать. Для меня она притягательна непонятно: только-только был и – вдруг нет. Как просто и страшно.

Мне бы ничего не знать, мне бы притвориться. Откровение и прямотуше не дают этого сделать.

Чем ближе к старости, тем приятнее возвращение к картинам детства; это своего рода поиск спасения от неминуемого конца. Завершение круга.

Замшелый, угрюмый валун у подножья горы, может быть, старше скалистой вершины. На нем хорошо отдохнуть альпинисту в промежутке восхождений.

Слова, как неразумные дети, любят играть и прикидываться дурачками, но, казалось бы, из нелепостей творится мудрость, сама о себе ничего не зная.

Вера к религии не имеет никакого отношения. Для веры нет канонов. А потому и истинная любовь чурается признания.

Наказание неуловимо и неминуемо. Что есть такое расплата? Сойти с ума – исход краткого пути. Верующие прибегают к защите канона, то есть к религии (Сэлинджер, Мухамед Али – боксер), к безопасности уединения, отвыкания, избавления от недуга цивилизации. То же делали Ван Гог и Гоген, Рембо – другой случай, Гойя, Леонид Андреев – невозможность существования. Их победил страх и, как правило, сумасшествие.

Чем больше вопросов, тем меньше ответов.

Стыд – прикрытие, щит, осуществленный Творцом.

Советчик – лекарь от собственной болезни.

Не надо меня торопить вечно опаздывающему.

Собака коснулась брючины и не залаяла: свой! Чужак без гневливости.

Обласкивающий юго-восточный ветер ноября. Голова пьет холод предвестия зимы.

Узнавание лица – пробегающие или перебегающие, скользящие пальцы слепого. Оторопь мгновения. Чудесное действо.

Немилосердная жена учит молчанию милосердия.

Зудящее, бесконечно летающее сообщает радость. Разве есть человек, обижающийся на бабочек, стрекоз, даже ужаленный пчелой в веко?

Вижу себя лучше, чем на четкой фотографии, посередке двора, заваленного сугробами, в начале ноября предпобедного сорок четвертого с маленькой лопаткой. Откуда вижу? Из голого ноября, когда мне уже – шестьдесят четыре.

Схоронил я свою собаку на холмах в апреле. Никому не хотелось отдавать кроме земли. А в городской черте это делать не положено. С удивлением следил за женой с работливой лопатой. Перерождение возможно и при похоронах, думал я.

И вдруг подкрадывающийся звук пришел, глухой, но слышимый и кошке: звонят на Арском.

Деревья не возражают пришельцу, и он подле них не чувствует себя отверженным. Почему же, сидя на теплом пеньке, он забывает, на чем сидит? Когда-то здесь ветвилось дерево.

Пустынь осенняя, зимняя: ворох и саван... Но как поле безмятежно в бесприютности! Жена сказала: «Воспринимаю снег как саван». Я ответил: «Как очищение и прикрытие...» Недосказанность не уходит.

Тоскуют ветлы обо мне. Как увижу их, серебристых, могучих, на Глубоком озере, так думаю. И мягкость особая на травке, где недавно чья-то машина стучала дверцами, и похотливый смехок был, и пьянь... Но вот же, сохранность-то какая! С ненавистью сжег мусор. И ветлы надо мной перелистывались.

По-оле! Звук наполненный. Нить жаворонка... вот-вот прервется. Как будто через меня она проходит. Даже слышу, как потрескивает она там, где оборвется.

И все-таки... где-то остается неуловимо минувшее. Пенка топленого молока в глиняном кувшине из духовки мне ли достанется? И пустая, ожидающая чашка.

Женщина понукает недомыслием мужчины, призывая к действию. Но не травы же поля томятся по косе, покрытые лунной росой... Запоздалые слезы печальны, но малоутешительны.

Да, бывает, бывает... и тягостно все, и замусорено. А ведь прилетает синица на перильца балкона, стучит клювом в стекло, потом стучит быстро-быстро. Куда, к чему зовет? Я одеваюсь.

Я было приуныл в хмурую погоду. Один человек, просто прохожий бессловесный, привлек мое внимание какой-то странностью. Значит, я еще не потерял интереса к жизни!

Тяжелый я нынче, тяжелый,
как будто вернулся из школы,
где «а» почему-то в квадрате...

На что свою жизнь потратил?

Погладил собаку и кошку –
авось оживу понемножку...

Женщина, четко очерченная, теряет всю прелесть акварели.

У него все есть кисти, холсты, краски... Почему же он не может извлечь из себя художника? Ему не хватает глаза ребенка и... неправильности.

Меня послали с запиской к бухгалтеру. Я притворил дверь – увидел в белых чулках повисшие ноги, выше я не глядел. Потом сказали: «Немка». День в день с кончиной мужа... Поволжская немка в 45-м году, летом.

Просто человек молчит при оживленном разговоре. Фигура загадочная. Не каждому это удастся. И вдруг прорвало: «О чем вы там глаголите, дурни? » И все примолкли и, дай бог, задумались.

Меня удивляют вопросы «Как живешь?», «Чего новенького?» Одному бойкому ответил: «Собираю свой гроб... » – «Как это?!» – изумился он. – «Из твоих косточек и досточек», – сказал я.

Ничего лучшего, так видится, не мог придумать даже Бог, потому что это предрешил он: Волга, бугор, собака, жена, перед ней таз вишни... И так некрасиво все кончается... Я – лишний со своими утренними яблоками из заброшенного сада.

До такой степени изношен, что в глазах покачивается авоська целого мира, дырявая и ненадежная: вот-вот рассыплется.

В первый раз на елке. Я действительно ничего не знаю, гляжу и слушаю, обнаруживая свое невежество и неуклюжесть.

Есть в любви желание некоей прочности – семьи. Отчего же оно нарушается поиском чего-то иного? И нескончаемы трагедии.

Видит ли цветок себя? Да, конечно... Я утирался папоротником ночью в детстве – и он цвел, видя мое переживание.

Самое возвышенное прямодушно, неприхотливо. «Вот я, Луна! Всех освещаю, если не грею, призадумайтесь...»

Чванится наислабейший. А ландыш прячется по закуткам оврага. И трогателен, и чист, и робок. Но как же он беспомощен на базаре в руках торговки и благочинных покупательниц!

Тянь-Шань. Долина. И застенчивая алыча обступает меня. Я знаю, что был здесь и прежде. Когда – не вспомню. Да и зачем? Чей это намек и на что?

Кончается второе тысячелетие. Давно не видел лошади и другого доподлинного. Кони только на ипподроме. А я где?

Не оккультный человек, я не разбираюсь в знаках, символах. Прислушиваюсь к дыханию. По-разному дышат люди. И животные, между прочим.

Измучил неверный снег: упадет – и растает. Конец ноября со своим секретом бесснежья. «Лягу в декабре!» – словно шепчет снег с небес. Так это похоже на загнувшееся сомнение мужчины или женщины.

«Природа боится холода!» – звучит легкомысленно. Не лучше ли так: все живое должно мерзнуть вовремя.

Беспросветно горевать нельзя. Даже свеча заливает восковыми слезами пламя. Я вспомнил белые стебли проросшей картошки в погребе старого дома (за ней-то я и полез). Ведь это желание зацвести. Не все так плохо, говорю я. Погоревали – хватит! И белые стебли покроются нежными цветками. Ими украшалась одна из императриц, как наикрасивейшими... Тем и утешаюсь.

Боязнь признания отвратительна, если это не касается интимного. Луна стыдлива, может становиться тоньше младенческой кожи. А солнце всегда роскошно, любвеобильно. Луна не боится признания, укрывая интимную жизнь.

У меня есть тайна – ключ в овраге, шиповник над ним. Я поднимаюсь по тропе с сияющими ведрами. Алые лепестки на подрагивающей в двух кругах поверхности. Я их несу.

Хорошо затянулась осень. Никак не хотела прощаться. Цвела и непогодила. Возвращалась особой солнечной тишиной... Не так ли и я? А ведь это в конце ноября 2000 года. Перед просторным окном больницы прореженные ветром торжественные березы благословляли меня.

Чужие секреты должны быть надежно укрыты, замкнуты. И, как говорят, накрепко в моей памяти закрепилось, осело, сморщилось. Может, и писать об этом не надо. Да «приоткрытая дверь» появилась из этого потрясения. Я робеющей рукой тронул эту «проклятую дверь».

На отцовской кровати лежала вразброску моя мать с чужим мужчиной. До этого мне дали капельку взрослого спирта на винограде... Ничего больше я не напишу. Ошеломляюще просто приоткрыл дверь, – и она не скрипнула, не возмутилась... Ношу в себе эту щель как проклятие, обдумывая всю остальную жизнь, как стойкую болезнь... А ведь не надо бы, не надо приоткрывать дверь в запретное. Вот и носи в себе как давно уже закоптившуюся рыбу. И какие свидетели! Время-то их стерло, укрыло собой. Но осталась щель...

Трудные месяцы декабри-феврالي: разум то теряется, как шапка, то возвращается, если потянешь за ляпочку. И нечем насытить себя. В лопнувшем халатике ходит-бродит юность, шаркая ногами.

Позабылась бабочка на плече моем – и таки замерла. И я утихомирился. Два отшельника, что ли? Странное сочетание состояний доверия.

Живу в доме, и как будто кто-то, и даже с излишним правом, подглядывает за мной. И это так, я чувствую кожей, взблеском зеркала. А ведь между тем я абсолютно одинок. Разве тени оживают?

Кошка живет только около тихо озабоченных людей. Ей хочется что-то сообщить, быть изящно предупредительной... Два мира беседуют, не нарушая порядка. Свое, мистическое, скрывает моя «пятнашка».

Очень хочется написать рассказ «Вот придет собака». Уже так долго болею им и боюсь – реального нереального. Жаль, я не Кафка.

Был у арыка разложен роскошный ковер. И вот появился дервиш. Больше я ни на кого не обращал внимания. Он не просил, улыбался, был ветх, как пещерная тьма. И над всем этим повисли ветви ивы. Я перебирал их, взглядывая на обветшалого дервиша. А была слишком благодатная погода. И узор на ковре был почему-то никчем.

Нелюбовь и ненависть создают, если прикрыть глаза, долгое кино бездны... А из зала сбежать некуда. Обречение семьи в замкнутости.

Унизительно даже просить чашку у женщины.

День, как невеста на выданье, – косицы перебирает, подол одергивает, само солнце любит ее. Жаль, если наряд помнется и поясок распустится змейкой, чтобы прервать это заглядывание.

Голос женщины сообщает нечто большее, что прячут звуки, – придыхание, умолчание, клекот. Я слышал их и так, и по телефону. Они богаче, насыщеннее, глубже. Приятнее все-таки не видеть, а слышать. И растет цветок невиданный, как будто видишь розовую гортань... Голос не ведает, что знает о себе. А видения обманчивы.

Пристани обманчивы в древесном хранилище. И никто тебя там не обманет, не обидит, как всякое растение. А молчаливые, одиноко стареющие дебаркадеры... Плохи те, кто тебя от них гонит... Так гниет и старится мое детство под затихающий колокол... И лески мои порваны, и удилища переломаны. Бремя я почувствовал там, бремя еще живущих людей, но неведомо на кого злых.

Как нехорошо и особо интересно подсматривать за самим собой. Тут и презрение, и обособление, но никак не самолюбование. Человек редко любит себя.

Видит Бог, как я любил. Не делал из этого тайны, и, может быть, поэтому у меня-то из-под руки все украли. А был бы скрягой... Ха-ха! И сундуки, некогда похищенные, совершенно мне излишни. Катастрофы богаче, но свирепее. Знамена вынесены в кладовку, где царствуют мыши.

О деньгах лучше вообще не говорить, если их нет. Как и о женщинах. Совокупление с несуществующим – и есть мечта, терпящая бедствие. А даровая добыча бьет прямо в темечко. В чем же все-таки «первородный грех» девственницы?

Встретил вроде бы друга. Не узнав, поздоровались. Ведь траты жизни неожиданны лишь для теряющих. И тут он хлопнул меня по плечу: «А ведь мы с тобой ходили за ручку в детский садик!»

Нехорошо задумал Бог: чудесное становится обыкновенной пошлостью, обидной мелочью. Откуда вообще скудость на восхищение?

Самый захудалый, донельзя изможденный человек оказался лауреатом. И такие пышные наряды и тяжелые розы легли на его исхудалую грудь.

Чем я живу, никто и не догадывается. Имеет ли время тяжесть? Бессмысленно, право. Живу-то я между психиатричкой и железной дорогой. Особенно – под чистой луной, похожей на лицо очень доброй женщины. Я теряю вес. «Входите в тесные врата» – это не я сказал.

«Ты кто?» – «Бомж». – «От всех освободившийся, значит?» – «Скоро изношусь до Бога».

Я столько потерял друзей, что и сам как будто временный. Но дума моя не об усталости от жизни, а о возвращении – ведь только там можно отдохнуть в захудалой ветхости и наплывающих запахах, казалось бы, небывавшего. Мы же редко присаживаемся в дороге, да и скамеек для этого нет. Чужое увядание виднее.

В феврале и слезки на березах прозрачнее. И женщины ближе к весне плачут откровеннее, – хоть сenco им подкладывай под щеки. Да ведь это счастливый обман и света и сердца!

Люди – ласточки. Я так любил их моментальность, особенно когда наступали тучи и тускнели глаза.

Мне все было дорого в этом человеке. И в том, как она ела с наслаждением вишни, приобняв таз руками (девочка от обилия). Их было так много, черно-блистящих вишен, поэтому и жадность-то убежала жалиться в крапиву.

И я радовался полноте ощущения, что ей прекрасно. Собственно насыщение, переполнение родного лица и есть покоряющее удовлетворение... А какой запах течет с губ! Ягодная близость. Удаление от этого ужасно.

Я никогда уже не встану посередине двора, буквально обваленного снегом, совершенно белым снегом ноября. И мы оба, и я, и двор, оба не заметим, как на нас навалются, натолпятся желанные и чуждые годы. Отмахнуться бы от угнетающего, а оно все нарастает, глыбится уже плохим снегом. Назвать это страстью – слишком много скорби, назвать глухим переломом... Так сколько же их было?!

Встречаемся с ней редко-редко, так редко – что и поездов и самолетов пролетело бесчисленное число. Но лицо ее для меня остается родным с детских лет. Прошло больше полувека. А я все бережнее и бережнее отношусь к мелковато дробящейся улыбке и быстрому смеху. И ничего не изменилось, даже пусть кратки мгновения на холоде... Родное как бы возвеличивается. Кто осмелится меня осудить за это?.. Две ямочки на щеках молодеют.

Печальнее парадокса: «Жить, чтобы умереть» не знаю. Выход завален глыбами тысячелетий.

* * *

Поверю ворону, а не кукушке.

Как бы то ни было

и тот, и та

спокойствуют у лета на опушке,

и мимо них мелькает суeta.

На молодом душистом сене догадывался ли я, что окажусь на битых камнях, облитых ржавой радужной волной? Обманное золото солнца станет холодным...

Улыбка надежды ускользает вместе с последним закатным лучом на дальнем куполе башни.

Чей-то вскрик среди ночи в переулке ударил хлыстом по сердцу. Вскрик, пронзающий пустоту и мрак.

Цыплячьей робкой стайкой одуванчики рассыпались в траве – и камень будто тяжесть потерял и серость. Мысль закружила голову воздушной легкостью. Прилетало откуда-то семечко осени старой – не проросло.

Язычник, я воспринимаю души предметов – и беседую.

Я лодку сотворил из облака, плыву, куда, не знаю.

Это моя шестьдесят пятая весна. Не хочу думать, конечная. Я так ярко вижу майское победное утро сорок пятого. Но сегодня оно с пронизывающим холодком. Перезванивающиеся нити тянутся ко мне. Жизнь сыграна, но мелодия звучит. Я перебираю струны. Скоро щелкнет соловей, заметет город тополинный пух. Сожаления темны, бесполезны.

Что за странные сны: то красная рыба приплывет, то на рассвете лебедь клюнет подушку?

Нет излишка у одиночества. Может ли возвеличить его беспощадность? О, это долгое погружение в беспросветность – и взлет, и падение! Но не опустошение...

Я в прошлом заблудиться рад. Там эхо с эхом разговаривает, луч сходится с лучом.

Спасает все детское, даже бессмысленный лепет, взрыв внезапного восторга... Утешают прозрачностью.

И был ее приговор: «Отныне я в тебя вошла, проникла змейкой. Всю сдула пыль. Открыла окна. Из чистоты ты будешь видеть, жаль, что мир украсить не по силам; из темноты глядеть ты станешь моими широко раскрытыми глазами. Запомни!»

Мальчик был замкнутый до суровости, который боялся даже нечаянного шума после внезапного исчезновения отца, пугался появления в доме всякого мужчины, чуждого, инородного, пахнущего чем-то горелым. Его пронизывал страх. Мать отодвигалась в угол.

Зло без добра сиротеет, обрастает лохмотьями. Последнее сочувствие уходит из мира: ни музыки, ни красок. Самоистощение зла – мерцающий фитилек надежды. Детское лицо проститутки – лик уходящего времени с гримасой ужаса...

И такие бывали часы-недели.

Это время нежизни, затянутое петлей. Долгая пауза. Выпянутое горло для вдоха, но воздух только просачивается в щель. Для чего? Чтобы длить мучение. Какие-то бессмысленные корчи изо дня в день. Говорят, надо терпеть. Произошел страшный подлог: живет оболочка, нутро не дышит. Смех – редкость. Музыка покинула человека: он ест, передвигается немзыкально. И дальше, и дальше... Паузе нежизни не видно конца.

Склонится он. Я лоб увижу чистый.

Последний сон над миром поплывет.

Смыкая, размыкая листья,

Туда войду... Настал и мой черед.

День был неожиданно тихий, мягкий. Трава сама подбежала к ногам, кинулась обнимать ступни. И чистый звук поднялся от влажного парного тела земли, проник вглубь и заволновался в сокрытости.

Пришел человек с апельсином в унылый день. И до сих пор сияет оттуда этот оранжевый шарик. Я думаю, согреваюсь этим воспоминанием и зимой, по прошествии многих озарений, погасших тут же. А апельсин – один-единственный – будто лежит передо мной на столе.

Я уловил, поймал или он настиг меня, этот ошеломляющий миг магнетизма. Потянуло властно на улицу. И тут же подкатился трамвай. Я послушно досехал, подлетел без помех к толстовскому скверу. На скамейке в обычном ожидании сидела та, которая уже готова была исчезнуть из памяти, которую я любил почти полвека назад. И мы ударили ладонь о ладонь.

Поменяюсь лицом, поменяюсь думой вон с тем или с этим – и пойду себе дальше, как народившийся месяц... Ну как тут не улыбнуться, как не вздрогнуть потом, услышав свое сильно забившееся сердце.

Повстречалась в лесу большая лохматая собака с малым веселым щенком. И мальчик с ними. Я с дочерью был, растерялся от неожиданности. Не взвыла собака, не ощерилась, не оскалилась. Мальчик не натянул поводок... О чем задумался каждый, покидая лесную тропу? Ведь встрепенулась душа, на мгновение замерла грудь – и обрушилась. Взмолнованный воздух шевелил деревья.

Женщина любит свое воображение. Особенно в молодости. А много позже, лишенная вымысла, раскаивается, и сама не понимает, в чем. Воображение покидает ее. Даже драгоценное воспоминание, как предзимнее поле, не одарит ни запахами, ни красками... Безвкусна застоявшаяся вода.

Вопросы, решения. Многовариантность проблем, казалось бы, безысходность... Но лишись всего этого – и станешь гол как сокол. Нужда подгоняет хлыстом, но и пьет душу, как воду. И было это во все времена, да забылось. Остаются лишь кристаллы, выпавшие на дно жизни. Их запоздалый блеск является во сне. Пора бы присмотреться к снам – и обольститься. Холод в мае терпим, потому что впереди многообещающее лето. Скачет взбудораженная сорока, каждый коготок бьет прицельно по жести. А ласточки затаились.

Священно предательство Иуды во имя Христа! Звучит странно, однако... Не умывающий руки Пилат был немошен, безразличен, но не жесток, он знал – слепая толпа прозреет, ей подавай жертву для вдохновения.

Боль, только боль возвращает человека к своему естеству.

И даже то, что я хотел бы навсегда забыть, отринуть, благополучно приживается в закутках памяти, сохраняясь в жуткой темноте.

Не понимаю: золотой век, серебряный, а остальное – «забронзовевшее», что ли? Поэзия – трагичное явление, отклонение, магнит, притягивающий, подманивающий неискушенного. Покрывает то золотом, то ржавчиной. Вытерпевший, перетерпевший да не обольстится! Я видел галку, вернее, распостертые крылья на муравейнике. Довольно-таки странное видение, призрак.

Пребывая в полном опшельничестве, я углублялся в толпу перемещающихся лиц, выделял яркие пятна типажей, сожалел и сочувствовал, сопереживал и будто здоровался плечом. Жизнь, я рассуждал, совсем не опасна, если ты доброжелателен и приметлив. Ну, кого бояться цветку на краю придорожного рва, какой-нибудь гвоздичке тонкостебельной? И ураган не пригнет ее, гроза приласкает блеском капель.

Соударение волн и есть откровение моря, перешептывание. Бездна ворочается, постанывает, а где болит, не показывает. Тут еще эта лодчонка с подломленным парусом. Ее жалеючи, и ветер стихает. Поверхность скоро совсем станет батистовой гладкостью... Моему парусу, жаль, нет подмоги. Удивительно: потери облагораживаю.

Сбегаю утренней тропой, я обязательно поглажу чистюлю – беленькую березу. Хорошее чувство у меня к ней, точно оберегаю я ее от острого топора чужака-пришельца. И просветляюсь. Косой луч золотит висок.

Безумье иль бездумье
вдруг овладеют мной,
но знаю, полнолуние
их смое свежее волной.
Великолепье неба
посмотрит мне в лицо.
Услышу – запах снега
и клекот бубенцов.
Я буду в славе поля
и пребывать и плыть
от боли и до боли,
так суждено любить.

Ее глаза как чистые черные камешки, искупавшиеся в ручье. Из-за них-то я и прихожу в это приглушенное кафе. Сумрак отбегает в угол, стоит мне поймать настороженный изумленный взгляд маленькой змейки. Она всегда чего-то остерегается, освещенная белым воротничком. Неужели такую кто-то давно мог обидеть, испугать по неразумению? И каким образом, очень интересно. Все! Змейка спрятала головку.

Одинокой женщине чего не померещится – полон дом детей и забот.

В конце концов я бы все-таки поднакопил денег на американскую трость, да как-то не до безделушек мне. И в Америку никогда не поеду. Купил легкую – алюминиевую. Страшусь третьей точки опоры. Пообвыкнусь. А пока пусть постоит в углу. Печальна до гула в груди наступающая старость. Эй, кляушка! Что пригорюнилась?.. И щербиньки, и лестнички без перил, и бульбжные надолбы льда – мои враждебные спутники.

И тогда, обомлев от горечи, скопившейся в сердце, я понял, что меня хотят приучить, внушить мне покорность жить во вражде, нелюбви и ненависти, – меня оплело множество присосавшихся жгучих плетей... Я вышел из дверей дома, потеряв вроде бы свою походку. Ноги вдруг не стали подчиняться мне... Чужой человек стоял на дороге, не зная, в какую сторону держать путь.

Долгое уединение способно омрачить, подавить, но никогда – унижить, исцелить от недуга. Прикосновение к коре дерева и то тянет за собой вверх, а не придавливает к земле. Маленький белобокий песик облаял меня, приветствуя... И стужи отчуждения как не бывало.

О, если б можно было воспринимать старость как награду, поощряющую действие, как мудрость или умудренность, но ее не шадят раскаяние, серенькие, ничего не обещающие утра и задыхающиеся ночи. Не страшится ее разве что оптимист оголтелый, который скорее похож на избалованного ребенка с глубоко спрятанным капризом. Ведь изможденный дух так слышно дышит. Куда торопится?

Портрет самозванца: безукоризненный, категоричный, как восклицательный знак, но холоден, как жаба под лопухом у женской ножки.

Спросили мудреца: «Что бы ты выбрал – поэзию или здоровье на долгие годы?» Он ответил: «Сила и немощь всегда при мне. А поэзия – мое вечное одиночество, когда я могу беседовать с целым миром».

«Спи! Я охраняю твой сон даже из могилы!» – голос матери. «Я поддержку тебя!» – голос отца с другого края земли.

Хорошо после грозы оказаться в промежутке какой-то особой просветленной тишины, которую сопровождает ровное, вкрадчивое падение капель. Ты знаешь, скоро развеется иллюзия полного покоя сокрушительным громом. Я только-только прихрамал домой, ощутив вдруг некую легкость походки после отягченных дней. Понимаю, пауза мне отпущена для укрепления. В голове чисто, свободно, точно я перешел уже поле, а впереди и по сторонам – овраги. Я отдыхаю. Потом выйду, пробьюсь к реке. И там уж расслаблюсь, раскину клешни, как краб.

Он спросил: «Что за тяжести перевозомаем? Ноги еле тащишь...» – и достал из сумки фотокамеру. «Правильно, – сказал я. – Поторопись. В меня давно вмонтирована катапульта. Тяжелая. Вот и давит на

ноги. Когда срабатывает, не знаю. Готовлюсь. Срабатывает сама. Пока вот ковыляю...» — «А ты не дави на пятку». — «Да тут такое дело: пятка сговорилась или объединилась с головой...» Он так замечательно улыбался, посчитав, что я шучу, изображаю. Аппарат щелкнул три раза. И — разошлись. Надо бы напомнить ему, сохранились ли фотографии. Правда, так ли это важно? Катапульта я в самом деле несущая, но она не зависит от меня, такая капризная краля. Бывает, и поторапливаю я ее: вверх — а потом вниз, вниз. Оземь!

По какому-то внутреннему закону жизнь обошлась необходимым, безжалостно отбрасывая излишки. Так сдирают кожу с тяжеленького на ладони упругого апельсина.

...И срывался, и падал — и все же не сгинул в униженности. Удержала паутинка, волосок невидимый подглазьем Бога, а могло быть, могло! И благодарное тепло излучает сердце. Кому? Шагаю-то я вдоль могил. И вечная дума при мне, необреченная, раздумье широкое, где бы я ни был, при любом действии, даже при наглom надругательстве, глумлении. Со мной призраки надежды.

Причудлив, загадочен снежный морозный узор на балконной раме — и роскошен. Чего только в нем не увидишь, не угадаешь! Детство и юность в мелодичных вариациях, образ, сплавленный с образом, мерцающий, завлекающий. Вечное возвращение, безнадежность ожидания. Не затухающий, а наоборот, разгорающийся кристаллический срез жизни. Люблю большие окна в холодном зимнем блеске. Жизнь не прошла, не исчезли нагластования, а затаились айсбергом. И движется, движется. Длится!

Примеряет женщина мужчине на себя: судьба? не судьба? А судьба дрожит в сторонке, хрупкая, на паутине тонкой: тронь-ка, миленькая, тронь-ка, пока душа слепа!

Чуть слышно скрипнула калитка. Я быстро пересек пустой двор. Вошел в дом, всей спиной ощутив тепло самовара на веранде. При слабом свете увидел на тахте обнаженную женщину. Она спала, пригнув к животу колени. «Маргарита!» — позвал я, с ужасом понимая, что зашел в совершенно чужой согретый покой. Перепутал калитки. Дома-то были абсолютно одинаковы и стояли в обнимку, как близнецы. Но не кинулся я сразу прочь, а еще постоял вблизи ровного дыхания, слыша только возбужденные удары собственного сердца.

Опамятовался я на улочке. А ведь послышался мне ласковый шепот: «Приляг, отдохни...»

Я люблю смотреть на мою кошку, когда ее головку освещает солнце. Тогда ее уши делаются прозрачнее долек апельсина. Она же у меня четырехцветка и похожа то на слегка помятую шляпу в цветных лентах, то на комок поблескивающей пряжи. Но ушки, пронизанные светом, делают ее голову похожей на распускающийся одуванчик. И мне кажется, дунь посильнее — и ее понесут лимонно-апельсиновые ушки. А может, она и в самом деле мечтает быть птицей и вздрагивает помаленьку ушками, как небольшими, аккуратно вырезанными крылышками. Я зову ее, но она почему-то не оборачивается. Уже, наверное, в полете.

Озеро небольшое. Но в зарослях, я знаю, живет уточка с выводком. Она выплывает, когда все стихает. Только ветерок бежит по глади, не оставляя почти ряби. Уточка не боится меня и проплывает близко со своими детишками-близняшками.

«Здравствуйте, мадам!» — говорю я ей.

Она немножко придерживает ход, утята собираются в кружок, и, я не вру, мне слышится дружный ответ: «Живите долго-долго». И снова величественно делают очередной круг. Такие свидания часты, и я остаюсь перед закатным солнцем с улыбкой. Я верю, уточка гордится нашей дружбой и я что-то для нее значу. И мы расходимся каждый по своим делам. Мир помаленьку алеет, и серебристые ветлы машут вслед облакам. Без уточки мне было бы скучно на пустынном берегу.

Поспешила роза зацвести. Только заневестилась в палевом бальном платьице, как ударили заморозки. И день, и два, и три, — опустила головку, как подломило ее. И сад, казалось, осиротел в скорби, глядя на ее поблекшее платье.

Дождь — благодать, дождь — уныние, дождь — занудная дребедень... Но думается-то как! Печь моя всегда полна, готова для пламени. Как затрепигит лучина, схватит в охапку огонь, никакой обложной дождь не помешает размышлению: поглаживает, поглаживает. А за далью полегоньку светлеет. Сухое тепло набегаем волнами на лицо. «Все будет хорошо, все уладится, — шепчет дождь. — Пережди малость, сойдет хмарь, улетучится. Цена твоему гореванию — копейка...» Но поди разберись, беспричинно жалко себя на одиноком табурете.

Вообразивший себя мессией униженно склонился перед Богом, с ног Сына его, молчаливого, спокойного, как лик луны, покорно вытер пыль. Загадка осталась неприкосновенной. Тайна восторжествовала, без единой морщины. Океан разбил волну о скалу — пустыня откликнулась вздохом.

И шутки ее лишены мягкости, коготки укрывают грех, не спрячет зеркало мрака — отталкивает сухоньким кулачком выкидыша. Заиндевшее время неумолимо.

Прямо напротив балкона, прижатое к забору, логово собаки — охранницы кафетерия. Я видел, как при луне к ней приводили кобеля, как они резвились. Позже видел четырех согливышей-щенков, катающихся на снегу. Суку редко выпускали на прогулку — она выла по ночам. Сердце мое разрывалось. Щенки в замкнутом пространстве быстро подрастали... И вот на зыбком рассвете я проснулся от выстрелов. Суку усыпили, а сынков-дочерей моментом расстреляли... Я стоял на балконе вспотевший от ужаса. Брели подросших псов за лапы с двух сторон и кидали в кузов. Тупой звук падающих, когда-то веселых щенков ударял меня в грудь... Так неожиданно убивают радость, И все темное, нагромоздившееся во мне за

долгие годы, подкапало к горлу удушьем. Измены, предательства... Потерянно завывла очнувшаяся сука. Отвратителен подкрадывающийся.

Я посетил старый дом, для меня вечно живую обитель. Первой меня встретила уже старая, больная собака-колли за металлической сеткой. Не взлаяла, лишь приподняла голову. Не моя собака.

Я попросил хозяйку посидеть в кабинете хоть несколько минут. «Можно и не зажигать свет!» Остался один на один с прожитым. Вполне хватило короткой паузы, чтобы заглянуть в лицо жизни. Прежние запахи самоуничтожились. А ведь я здесь страдал и плакал, горевал яростно, обреченно после первого сокрушения любви. Не возрождаются похоронные тайны. Я будто сам от себя отделился за крутизну холма. Простился в который раз...

Вскоре узнал: колли умерла, хозяйка скатала вещи и укатила в Израиль. Из этого дома проводили на кладбище сына и мужа, — она кинулась прочь подальше, подальше к оставшимся родственникам за кордон... Кто-то теперь живет в моем доме? Беда, это уж как-то само собой. Когда все стихло, я вдруг раскрыл руки и прижался к ослабшей входной двери. Неужто еще забреду сюда? Потянет ведь, потянет, чтобы ужаться в полутьме тоски. И детство, и юность покоятся здесь. Примолкнув, прислушиваюсь к моим осторожным шагам. Робею я здесь.

Встречу ли перышко на пути, камешек ли гладкий, обязательно приберу в карман, как посланный невесть откуда знак. Стало быть, жду я чего-то или кого-то, истомился в серости будней.

Высокомерно взглянула сверху из-под кокетливой, сдвинутой набок шляпки, сказала вдруг: «Фу! Какая букашка! И земля таких носит...» Высоченная дама так оскорбила меня в давнишние годы. Я ей чуть подол не оторвал. Может, сбежала из психушки, подумал. От своего громадного несурзального роста устала. Таких не вылечишь, не пожалеешь. Мечтал стать доктором сызмала, да не вышло.

Девчущки желторотые шепчутся, шепчутся, а я подслушиваю, так мне интересно. Это и есть старость.

Новый день ушел сгорбясь. Как скоропостижно воспоминания покрываются ветошью, прожилками седой плесени! Наиболее живуче дальнее, давнее.

Я стою маленький, это я сознаю точно, на осклизлой глине. Чуть шажок — и падаю, зареванный, перемазанный: нет мне спасения, никто не видит меня, не перетащит на сухое место. И все-таки для интереса облизал намазанные глиняным маслом пальцы... Вспоминать — как оживать заново, обнюхивать по-собачьи свое обиталище. Логово-то вон какое укромное, закиданное всяким хламом. Ловко скопило тепло, самоугрелось, с любого края вползай в него — и вкушай благодатную глубину сбереженного.

Никто не уследит за рождением морщин. Не в одночасье же они появляются, скорее — вызревают. Мужчин они делают мужественными, женщин — чуть привядшими. Но ранняя осень просто очаровательна, другого слова я не найду, особенно когда солнце подсвечивает красную изнанку листьев. Каждая трещинка улавливает свет. Тогда становится грустно, медленно всплывает печаль успокоения, умиротворенная тишина ласковости. Всех бы защитил, каждого бы приобнял. Женственность природы очевидна. Вон как разгорелась калина! Дуб же мрачно-задумчив, крепкоплеч, собран, ему не до морщин. Рядышком латунно светится липа.

Приятно улавливать разговор двух колоколов, как бы обнимающих пространство. Санкт-Петербург — Казань, север — восток, моря — озера — Волга, символы истории. И дело не в старинном звучании, а — в глубинах времени. Отсюда и гулкость торжественного аккорда. Триста лет северной столице, а Казань готовится к празднику тысячелетия. Связь не обрывалась. И в Казани есть свое адмиралтейство, задуманное еще Петром Великим.

С верфей Волги шли суда Российского флота в Финский залив к царственному граниту Северной Пальмиры. И точно так же соединились жизни, сам дух истории, узы культуры. Этому и посвящен номер журнала «Казань». Два колокола разговаривают в просторе жизни.

Одна бесконечная белая ночь Петербурга

Собственно, название эссе родилось сразу по наитию, не как всегда, после с удовольствием поставленной точки, сразу, но по прошествии нескольких дней раздумий, перелистывания картин, моментальных набросков в уме, столпотворений, сумятицы и завихрений, сомнений и сожалений о потерянном, трудноуловимом, в конце концов полусбывшемся, которому продолжаться бы и разветвляться. И отлегла озабоченность, слово обрело уверенную упругость весеннего крыла, перелет позади, возвращение состоялось, пора заново складывать гнездо. Сколько раз проделывает птица перелет туда и обратно? И есть ли у нее постоянное местожительство, когда нить вьется из преодоления небесных ям и земных хлопот над гнездовьями по разные стороны света, совсем не по велению и прямоте солнечного луча? В беспамятстве ли она совершает неукоснительное путешествие во времени, повинаясь лишь компасу инстинкта? Почему я прибегаю к образу птицы? Она, птица, всегда около нас... Петер-

бург не нахохленная страничка, а спокойная орлица. Именно спокойствие внушает север вообще и северная столица в частности, твердость и устойчивость...

Прошедшая зима была в наших краях и коварна, и непредсказуема – сплошной перепад. Надо мной, на чердаке, сбились в теплую кучку возле обогревательных труб не перелетные птицы, сизари, воробьи, наверное, сороки, галки. По их возне и шорохам, слабому воркованию я определял струну жизни.

Точно так же или таким же манометром был для меня Петербург. Во главе все-таки с блокадой. Все определила она. И образ начал лепиться в устойчивости (помнил неожиданное обращение Джамбула: «Ленинградцы, дети мои...»). Потом, лишь потом остальное. Знание опаздывает, опережает нечто другое... Когда я начинаю что-то вспоминать или оценивать прожитое, помощников, ясное дело, у меня быть не может, свидетелей тоже. То, о чем я пишу, не досужее любопытство для каждого. Мое личностное не имеет для этого удовлетворения, мелко и необязательно. Меня интересует образ Петербурга-Ленинграда и снова Санкт-Петербурга. А образ этой окованной гранитом северной столицы возникал, воскресал, перерождался давным-давно. С чего? Вот, наверное, первый посыл, переживание «белые ночи». Здесь отправная точка. Итак...

... Нестерпимо захотелось
Белой ночи, чтоб локти упереть в гранит
и холод ощутить Невы,
лицо вблизи,
которое сказать мне что-то хочет
в летучих проблесках спокойной
синевы...

А впрочем, образ оживит
лишь только небо
и, кажется, поверю я тогда
беспрекословно –
весть облетит меня,
коснувшись робким снегом,
последним тихим вздохом
с небосклона...

.....

Она тогда, раскиданная
в пепельной горячке,
умирала.
Я возле был, как нянька и слуга.
Мне восемь лет...
Так нас война карала.
Жизнь до дыхания бессилья дорога...
Спасти не мог.
Мне было тем привольней
прожить, быть может, за двоих.
А почему же до сих пор
среди веселья больно?
Старик ослушник головой поник.
Блокадной девочке принес бы
столько ежевик!
Но тишина. И ночь бела.
И голосок затих.

...Сумрачное, тяжелое небо лежит над крышами, как сырой, свалывшийся войлок, и лишь с западной стороны широкая впадина высвечена ярко и пронзительно. Даже непонятно, откуда берется оживленный свет среди этой серой пустыни блеклого, невыразительного вечера, но проем небесной пещеры призывно зияет, и на его фоне сиротливо и голо торчат черные трубы, похожие на траурных гномиков, а по краям одинокого провала все рвано от встрепанных туч.

Внизу на земле густеет темнота, вспыхивают фонари. Трамвай на дальней улице брызжет искрами, словно отбивается от ветреных, шатающихся теней. Темными точками на белеющем снегу мелькают люди. Как клочья дыма, мечется на ветру их одежда. Еще далеко и отчетливо видно, однако вот-вот в какие-то незаметные четверть часа все будет наглухо закрыто чернотой неба и останется лишь нитка провисающих огней улицы да желтые квадраты окон. Поземка угодливо зализывает следы.

А провал неба горит стальным, наполненным светом. Я никогда не видел белых ночей, но почему-то именно сейчас хотел бы оказаться на чистом белом-белом снегу под блистающим, как вытертая поверхность тусклого стекла, небом. Мое желание ничем не объяснимо. Оно проросло внутри меня, точно куст, сплошь усыпанный маленькими странными цветами. И я живу им какое-то время.

Отчего-то внезапная мысль о белых ночах будоражит меня. Что в ней проку – в нереальной, скупо освещающей мое лицо? Ведь это всего лишь случайное наваждение, и явись суета – ну, пусть хотя бы зазвонит телефон или постучит в дверь почтальон, – оно вмиг погаснет, и останется от «белых ночей» горстка невзрачного пепла, небрежно уроненная с сигареты. Но воображение подчиняется ему, и словно тонкий звук возникает глубоко в груди, как далекое, давно потерянное эхо...

И я прогуливаюсь где-то по набережной Мойки, и со мной происходит удивительное приключение. Я встречаю грустную девушку в легкой шубке и белом пуховом платке. Она уперлась локотками в ограду и смотрит на меня тревожно и тихо. Она похожа на ту бледную девочку, которую привезли в наш дом из блокадного Ленинграда.

Я подхожу совсем близко, говорю ей:

– Тебя зовут Саша. Я знаю.

– Саша, – спокойно соглашается девушка.

– Ты здесь живешь совсем недалеко, правда?

– Рядышком. Всего через три дома. Вон и балкон видно.

У девушки Саши родинка на левой щеке, а над родинкой узенькой полоской шрам. Когда она улыбается, родинка смыкается со шрамом. Платок почти спадает на глаза, и я не вижу, какого цвета волосы у девушки Саши. Но вот она, словно угадав мое сожаление, поднимает со лба платок, и темная густая волна проливается по ее руке. Мы почти одного роста, может быть, на ладонь я выше. Над головой Саши белое, уходящее в никуда небо.

– Ты – Саша, – говорю я тихо. – Но та Саша умерла. Мы ее похоронили. Еще шел такой снег, и гроб накрыли одеялом.

– Зачем ты вспоминаешь об этом? Не надо.

– Ты похожа на нее. И я подумал... Разве так бывает?

– Бывает, – говорит девушка Саша.

– И родинка, вот только шрам. Но он мог появиться потом. Она была маленькая и ничего не успела.

– Как долго может помнить человек! – вздыхает девушка Саша.

– Она мне рассказывала про белые ночи и обещала показать, когда кончится война. Рассказывала – не то слово. Их бомбили, и белое небо было черным.

– Вот и наступили белые ночи, – поднимает ко мне лицо девушка Саша, и я вижу, что она плачет. Нет, голос у нее ровный, слова осторожные, но глаза...

– Я ее один раз обидел, а потом думал, что это она из-за меня умирает. Взял и руку себе порезал.

– Зачем?

– Чтобы сделать больно.

– Вот и наступили белые ночи, – повторяет девушка Саша.

Я вздрагиваю, до меня доходит их настоящий, глубокий смысл.

Она никогда не плакала и не жаловалась. Покорная такая. И все говорила: «У вас тепло». Нахолодалась в блокаду.

– Бедненькая, – вырывается у девушки Саши. Сейчас ее лицо, как на иконе, скорбное и высокое.

– И все не верила, что сахар можно есть. Мы его мелко-мелко кололи, чтобы кусочков побольше. Возьмет губами и держит, а сама как ежик. Еще жмых любила, я ей приносил помаленьку. И мы смеялись, пока грызли. Чего там было смешного, не знаю, а только она хорошо так смеялась, вся поджималась от удовольствия. Никто и не поймал нас со жмыхом, а то бы сильно ругались.

– Трудно ей было. Терпела.

– Еще как. Страдала сильно. Отвернется к стене, а глаза не закрывает. Я сижу на стуле рядом с кроватью и не дышу. А потом тихо-тихо скажет: «Тебе без меня скучно будет...» И опять молчит, умная, как старушка.

– Пойдемте поищем ее дом!

– Да что там! Может, и жила она, где ты теперь.

– Тогда зайдем и посидим.

Она берет меня за руку и ведет прямо в белое небо, в просвет приподнимающейся улицы. И мне снова слышится, или это девушка Саша произносит едва слышно:

– Вот и наступили белые ночи...

Свет от настольной лампы слегка натекает на пол желтой лужицей. Моя тень качается на стене. В коридоре тихо. Соседи гостюют. Удивительно: телефон, как черная черепаха, глядит на меня наборным диском и вот уж сколько времени безнадежно молчит, вечерняя почта тоже не торопится, как будто существует тайный сговор не тревожить меня

мелочами жизни, чтобы я смог глубоко задуматься. Да и никому не расскажешь о своих мыслях, они живут только во мне, как постоянный шум леса, к ним медленно привыкаешь, и нужна слишком отверженная тишина, чтобы они подошли, как крик к горлу.

Я возвращаюсь к фиолетовому окну балкона. Провал неба над крышами соседних домов еще тлеет. Тучи уже чуть скрали его спасительную пустоту света. Так ночью стоит сияние над затухающим костром...

И я вижу нашу узкую голубую комнату с одним окошком. На ночь оно закрывалось плоской ставней. Вижу диван со стершимися малиновыми цветами. Его терпеливые пружины вздыхали протяжно и красиво. Вижу стол на резных ножках из крепкого дерева с большим нарисованным солнцем. Мне за это попало самым суровым образом, потому что солнце я намалевал несмываемой тушью, обмакивая палец в пузырек. Вижу кровать с певучим упругим панцирем и на ней глядящую в потолок Сашу. На стене висит истлевший от старости коврик. Как раз над Сашей.

Она меня спрашивает, подняв остренький палец:

– А это кто?

– Тысяча и одна ночь, – говорю я взрослыми словами.

– А почему тысяча?

– Вот эта, – я показываю, по своему разумению, на старую женщину, которая курит из длинного мундштука, – рассказывает сказки. А эта, вроде барыня, слушает. Видишь, она никак не может заснуть. Тысячу сказок ей подавай. За одну ночь.

– Хитренькая, – Саша смеется, оставаясь неподвижной, только губы чуть приоткрыты, и сквозь эту шелку звучит ее слабый голос: – А ты умеешь рассказывать сказки?

– Не пробовал, – отвечаю я.

– Придумай, а. Мне будет хорошо. Ты долго-долго думай, чтобы получилось. Зажмурься ночью и шепчи себе. А потом и мне можно.

– Про что хоть?

– Про всякое, про нас с тобой. Если бы мы стали большими, я бы тебя любила, – задумалась Саша. – И спасла.

Мне становится жарко от невозможных слов Саши. У меня перед глазами расплываются малиновые цветы, что на обивке дивана.

– От кого спасла? – выдавливаю я.

– От злых собак, и еще если ты станешь раненый. Все бы пули из тебя вынула. Щипцами.

Она хитрит немножко, хочет, чтобы я подольше сидел около нее. Разговорился, а мне наказано строго-настрого Сашу не беспокоить, иначе у нее опять пойдет кровь горлом, и тогда она может захлебнуться. Но сейчас никого в доме нет – только мы с Сашей, и мне стыдно и неловко оставлять ее одну, потому что ей станет плохо и она примется смотреть в потолок печально-печально, как никто из детей, так ей больно и горячо, и еще я не знаю как, но глаза как будто увеличиваются и, мне кажется, вот-вот оторвутся от Сашиного лица и погаснут совсем. А тут, когда я подле, она и смеется легонько, и гладит ладошкой простыню, – пальцы тонкие, розовые, больные. Я незаметно трогаю ее руку, она улыбается счастливо, закрывая глаза. Над Сашей словно стоит невесомое облачко пара.

– Нас через белую ночь везли. Мы и не спали. Бомбят и бомбят, а тут белая ночь. И снег будто красный, это мы перепугались так.

– Что такое белая ночь? – удивляюсь я.

– Ну, когда ночь и день одинаковые. Светло-светло. Вот мы вырастем, и я тебе покажу. Мы же будем гулять всегда. И ты мне цветы подаришь. Вот белые ночи и наступят. А я тоже в белом платье. Около нашего дома речка течет.

– Прямо в городе?

– Конечно. И мосты через нее каменные. Я тебе все-все покажу...

Я спохватываюсь: мне нельзя больше. Никак нельзя. Щеки Саши порозовели, и она будто не видит и не слышит меня, а говорит сама с собой. И от этого мне страшно. Я бочком-бочком отступаю к двери, не нарушая тишины. А Саша шепчет:

– На мосту стоять хорошо. Над речкой. Из нашего окна мост видно. Я выгляну, а там ты стоишь у решетки. Мама говорит, белые ночи спать не дают. Мы и не будем спать.

Я прикрываю за собою дверь и стою, прижавшись головой к косяку. Теплое дерево ничем не пахнет. Скорей бы пришел кто-нибудь!

– Ушел, – долетает до меня голос. – Мне так одиноко. А он ушел.

Я не успел сочинить сказку для Саши и не найду оправдания своей детской неумелости...

Вот и погас островок света. Тучи забросали его сырым хворостом будущих вьюг. Стало совсем темно, глухо, но где-то под сердцем осталось отраженное сияние.

– Вот и наступили белые ночи, – произношу я в пустоту замерзающего окна.

* * *

Сидим с Мухаммедом Садри в гостинице «Ленинград». Он сходил рано утречком на базар и угощает меня айвой. Необычный азиатский твердый бугристый плод контрастирует на фоне мглистого освещения.

Режем ломтиками. «А при чем здесь айва?» – спрашиваю я. – «Для аромата. Да и просто люблю. Мечтал на войне. Эх! У рейхстага стоял – и айву видел. Белая клеенка и эта красавица. Головой встряхну – сон отбежит...»

Спускаемся к Энверу Давыдову. Он говорит кому-то по телефону: «Я здесь у вас в Волховских болотах себя оставил, здоровье свое, как портянку, бросил. И первый раз приехал поглядеть на сам город... Вас же и защищал. Где я шаркнул не так?..»

И все уладилось. С поэтами говорить трудно. И мы, уже втроем, разрезали айву. «Белая ночь спать не дает, – сказал Энвер. – Вот и ты, Мухаммед, с утра на базар двинулся». – «А чего там позже делать? Клюкву забыл купить, в самый раз к белой ночи».

Я вдруг вспомнил строку Леонида Топчия. Прозвучала она слишком резко: «Да провались на этом самом месте, когда б ты не был – Ленинград!» – «Ты что, с чего? – сказал мужественный Энвер, покосившись на телефон. – Топчий так выразился под горячую руку. На казацких костях вырос Петербург. О своем сказал... Зачем вспомнилось, не к месту вроде?..»

Помолчали, пожевали айву.

«Зачем и кто вам звонил, Энвер абый?» – спросил я. «Кусочек сливочного масла упал на паркет. Я не заметил. Пожаловалась уборщица, такая красивая. Я здесь в болотах все оставил. Кусочек масла, видишь ли... А «война» и «айва» рифмуются?» – «Очень даже», – сказал я. Мы хорошо посмеялись. – «Прожить бы эти белые ночи, – сказал Энвер. – Пока с ума не сошли: «айва» и «война» рифмуются». – «Пожалуй, еще живем, – сказал Садри. – На базар ходим. Пускай, кому надо, подглядывают. Лучше бы за нашим здоровьем...»

А среднеазиатская айва красовалась на тарелочке, как незабываемая тюрчаночка. Посеревший от превозможения мглы город, – так чудилось, – чему-то изумлялся: Ленинград-Петербург... Белый день вместе с айвой перетекал в белую ночь, так незаметно-вкрадчиво, что граница между утром и ночью стиралась сама собой. Вероятно, течение грунтовых вод подобно неосознаваемому продвижению времени. Абсолютно точно: несколько раз накоротке, вспышками, я бывал в Петербурге в разные времена года. Однако мои «набеги» слились в одну длящуюся до полного истощения Белую ночь. Ничего особенного – так случилось после тех запавших в сердце слов блокадной умирающей девочки в моем согретом печкой доме, в кабинете воюющего отца. Вот я и вижу эти Белые ночи как одну взлетевшую на невидимых крыльях ночь, ведь их она мне хотела показать в лихорадочном бреде тянущейся ни к кому руки... А посему и бесконечна Одна ночь, как протяжная в печали татарская песня откуда-нибудь с подножия холма ли, с берега реки ли, а ты сидишь на теплой ступенечке крыльца и слушаешь вековую мелодию, – она живет на просторе, незамысловатая, щемящая, улаждающая томление, она заволаживает, и ты обмираешь. Да, потом станет понятно: все в первый раз – и в последний. Удалось мне так сказать, и полегче стало – «айва – война», крошечная блокада – и губы, тронутые алою помадой, увы, она-то из собачьего худого сала... Сам Петербург писал себя...

* * *

Амирхан Еники, болезненно-старый, пригорюнился в Ленинграде, в казенном дешевеньком номере, и слушает современную гармонь Габдрахмана. Плачет, стыдится слез. «Погоди, погоди... Сердце у меня под ладонью».

Я старался его отвлечь, говорил быстро, а суетиться было нельзя. «За тобой я не поспеваю. Скачешь козленком». – «Мы проходили мимо этого... Финляндского вокзала, кажется. На его ступенях не споткнулся, а разом умер Иннокентий Анненский». – «Кто он?» – «Поэт... Вот строки: «И если мне сомненье тяжело, я у Нее одной молю ответа, не потому, что от Нее светло, а потому, что с Ней не надо света». – «От звезды, да?» – «От звезды или женщины», – согласился я. – «Мудрено, – опять задумался Еники. – С ней не надо света...» – «И Петербургу не надо, – сказал я. – Сам себя освещает, Петербург... тяжелый, мрачный. На ступени валит». – «Зачем тебе это надо? – словно охнул Еники. – Свою музыку слушай и задыхайся». – «Душа моя отдыхает и тут и там, – сказал я. – Трудновато вверх по ступеням... А была белая ночь». – «Может быть, может быть...» – «Была...»

Татарская мелодия баюкала, едва проступала, не возмущала тишины, успокаивала паузы молчания. Я прислушивался или входил в нее, как в мягкую воду, уходил в свои глубины. Амирхан Еники, видя по-своему, прочувствовал и малый умиротворяющий звук. Он был приятен мне, пригорбившийся. Звучала не деревенская гармонь, концертная, и она сохраняла, охватывала, как ступни ног никем не побеждаемая трава отчества.

Утром были в Разливе у шалаша Ленина, тогда – Ульянова. Разлив – исторически вбит намертво в сознание. Стояли мы рядышком, татарские писатели – Амирхан Еники, Риза Ишмурат, певица Раиса Белялова, – в обыкновенности прошлого, простоте окружения, знакомого каждому по деревенскому простору детства. А потом переместились в репинские Пенаты. И надо же, шальная, безнравственная фашистская бомба угодила и в этот скромный угол.

Свежий сруб Пенатов обрадовал запахом смолы. Совсем поблизости, и мной очень любимый, своенравный Леонид Андреев со своей укоренившейся заботой о чистоплотности русского языка, вместе или параллельно с Репиным: из-за истребления теперь уже забытых «ер» и «ять»! Все это: быть под потоком впечатлений – не отпускало. Я что-то там «вещал» немногословному Амирхану Еники, и девушку-блокадницу не позабыл упомянуть. Он вроде бы понимал, о чем я, чтобы уже поближе к ночи заплакать, отдав себя целиком меланхолии возле вздохов гармонии. Татарская песня облагораживает, даже упустив слова, но сохранив мелодию.

Слои Петербурга накладываются исподволь, разомкнуть их невозможно, один слой перетекает в другой... День был плотен, хотя по-ленинградски привычен перебегающей сумеречностью... Удивительная, единственная, пожалуй, для России мечеть абсолютно успокоила. Мужчины мыли окна в обычной аскетичности храма. Раисе Беляловой разрешили опробовать акустику мечети в порядке исключения. И взлетел «сандугач», забился по глади ужимающихся сводов вверх. Музыкальная фраза коротко блеснула. Мойщики окон оставили тряпки, задумались, распрямившись. Мечеть встряхнулась, как оглаженный по стволу и ветвям солнцем кипарис. А сандугач уже вытек, обнаружив скупую трещину, на волю. Тишина зазвенела, осыпалась хрустальными осколками звука. Явственно прошелестел песок, сухой песочек побережий... Петербург ведь не стыдится каменной ноши. Несет ее достойно, сдобренную щедрой влагой, не отбивается от извечной промозглости. Подворотни, колодцы дворов подавляюще черны. Ноша тяжелеет, придавливает к земле. Мощь камня слишком очевидна. Северная столица не напоказ, но гордится священными глыбами мечты Петра Великого. Гранит Петербурга не воздушен, а демонстративно хладен, грузен. А потому песок незамечаем, ползуч где-то в отдалении, оплетающий корни сосен. Да и сама древесность отступилась от внушительного града. Какие тут дюны, о них и не помыслишь; сфинкс более уместен, ненарушаемо величествен. Ступени, парапеты торжественны, как застывшие в воздухе баховские аккорды фуги. Глубокомыслие камня не подавляет, скорее – возвышает. Представилось: дюны сползли в Финский залив и по дну продолжили свое движение, вышли на сушу в далеком далеке бережливо пересчитывать песчинки. На то и Балтика – каменно-песчаная... И тут выпорхнул лепесток с распутившегося было цветка...

В одном из петербургских колодцев брэнчала гитара. «Сын, – сказала мать. – Немножко никак. Попробуйте вообразите. Я – Наташа Ростова. На самом деле так. Пробуюсь на роль. А кто я? Костюмерша, она же и парикмахерша «Ленфильма». О-оо, я тогда – жила! Да не стало моей Наташи...»

Вошел сын: «Мама, кончай. Дай лучше сыграю»... Мать, вжившаяся в образ Ростовой, произносит тихонько: «Водвинули или выдвинули из него, дебила, не опасного. Играет на гитаре. Тяжело, а? Мурашки по коже. А сам я режиссер, что ли, обмороженный... А я до Наташеньки Ростовой уже не дойду... Послушайте лучше гитару...» И мы ее слушали, не сверкали в гнев глаза. Сожалели... Таковы колодцы Петербурга, упрятанные за Аничковым мостом... Петербург по цвету серый с подмешанным или разбрызганным взбитым желтком. Линии уверенны, просты, прописаны от решетки Летнего сада до Адмиралтейской иглы. Проспекты, колонны, каменные ядра, изящные мостики. Есть в этом что-то мистически определенное, точно на века: глыбисто, сдержанно-прекрасно!.. Я пробежал рукой по выстроившимся копьям ограды Летнего сада. Обыкновенная палочка поскорее бы озвучила ритм.

Припомнился Лев Гумилев, когда взгляд перебежал по не-соединенным прутьям-копьям... Александр Невский (это потом он станет Невским) ушел в скит, в уединение. Решили – обиделся, затаился. Нависали псы-рыцари-крестоносцы над Ладогой.

Невский тайно встретился с побратимом Сартаком. Поразмышляли.

«Тебе хватит 30 тысяч конников?» – «Хватит...»

И эти конники на татарских низкорослых лошаденках навсегда утопили в Чудском озере тяжело-весных рыцарей. Вот такое было Ледовое побоище, и Александр стал Невским. Я и вспомнил об этом у решетки Летнего сада. Выстроились почти несуществующие копы одно к другому, ни одного узелка. Кто-то сказал: «Иностранцы приезжают только поглядеть на решетку Летнего сада. Восхищаются. Поглядеть и уехать».

Задержались в доме Пушкина на Мойке. Такая богатая самоорганизовалась моя одна бесконечная Белая ночь. У нее не было берегов, одновременности, она текла вне утра, полдня, вечера, текла по своему кругу, путая пояса времени, листья и снег, дожди, вихри... В доме на Мойке я притих. Ариадна Эфрон высказалась в одном письме: «Мне кажется, я начала умирать давно. С тех пор, как узнала, что Пушкин убит на дуэли...» Я бы добавил: французом! Здесь, в центре Петербурга, Николай Гумилев, узнав, что Александр Блок надел шинель, сказал: «Это же все равно как жарить соловья...» Блок задохнулся от недостатка кислорода... Поднялись вверх, в полном смысле в «опочивальню». Леонид Хаус-

тов говорил, говорил: «Понимаешь, тут в передней висел портрет Дантеса. Я чуть не взорвался чисто натурально. Ну как не возмутиться! Пришло же в голову кому-то. Сняли!» Дантес обязан был сойти с ума. Трагедия судит по-своему. Беспокойство не обошло стороной всякого. Владимир Даль держал руку на пульсе Пушкина, как на пульсе вообще русского языка. И надо же, через множество лет и я тут стою! Собранная тишина Белой ночи набирает силу. Мутная Мойка не может быть прозрачной. Само собой вырвалось: «Пойду к Достоевскому! Рядом...» Я чувствовал, наступает, разрывает грудь какая-то фантазмагория, величественная, ничем не перебиваемая и беспредельная белая ночь оборвется сном, пусть и задышающим. Мне надо успеть, а куда, бог весть...

В доме Достоевского я вникал в каждую деталь, хотя и не жаден до «музейных» реликтов. Подумать же – всегда полезно. Достоевский возил с собой в каторгу «Дон Кихота».

Мне интересно было заглянуть в комнатку, где навалом лежали экземпляры «Дневника писателя». На хрупкую жену Анну Григорьевну столько налегло. И она осталась на высоте: и детей родила, и за мужем следила, как за дитем, и в этой комнатке тряслась как издательница «Дневника писателя» уже в одиночку – вдова. Оглядывался я вокруг – на самовар, стул, углы. Что успел – то успел. Меня разрывали изнутри гейзеры: я готов был объясняться в любви Грушеньке, смиренно и безропотно смотреть кроткими глазами князя Мышкина... И вернулся я в гостиницу, послушал гармонь Габдрахмана, воспринимая слезы Еники как столь уместное откровение... Начинаясь моя фантазмагория, не могу назвать это по-другому... Блокадная девочка показывала, разворачивала передо мной свиток Белых ночей, которые я вместил в один удар сердца, много ночей – в одну ночь, переживаемую и поныне. Не одеяло обнимало меня, не белая простынь, а беспредельное время, – я его успел похватать кое-как, воедино собрать не смог до сего момента... И началось, и переакунулось...

...Равиль Файзуллин попросту «свалился на голову пряником с неба». Поначалу не поверилось, что он побывал на Дальнем Востоке и угодил как раз к «кону» в Петербург. Банки-склянки подтверждали это. И мы долго-долго, как за самоварным татарским застольем, пили вкуснейший чай, заваренный с ягодами и ветками лимонника. Сон не упорядочивает время, он разбрасывает, расшвыривает его. Только-только спрессовывал – и вот тебе на! – смахнул, сдул феерически по сторонам. Что удивительно: в хаотичности разброса был свой алогичный порядок, непредумышленность, бесхитрость...

«И Тукай здесь был...» – «Да вон туда погляди! Кажется, он идет по той улице... Чья-то фигура в черном каляпуше появилась в размытом молоке белой ночи». – «А похож! Не помню, чтобы с тростью. Но бледен, бледен». – «И беден, беден, – продолжил я. – Ночь ли, день ли, не разберешь, – закашлялся, сгорбился, платок в кармане ищет. Подойдем ближе?» – Не стоит, помешаем». – «Тогда, может, еще с лимонником». – «Это конечно...»

Привык я к превращениям, очень хорошо мне с ними, не одиноко. Тукай бы нам улыбнулся. Как его-то занесло сюда?! Сирота в нем и не кончался никогда.

Мы чокались чашками с ароматным чаем. Плавали на поверхности не чайники, а ягоды лимонника. Равиль подарил мне бутылочку «пантокрин». Панты (рога) молодых оленей лечат нервы и кости. «Эх, Тукаю бы сейчас подлечиться-подкрепиться». – «В его времена о таком и знать не знали». – «А мед был, масло крестьянское. Мумие тоже было. Эх!» – И я оказывался вдруг у Петропавловской крепости. Все мигом, в одно касание вихря. На лету притискивался на запятках быстрого, замедлившего бег легкого экипажа. Дорогу пересекал траурный катафалк с гробом Анны Керн. «Вот так встреча», – вскрикнул кто-то, не Пушкин же. Почти без задержки я входил в ворота крепости, в страшный сон Петропавловки. С башни сбоку поторопилась пальнуть пушка...

Не слышно шума городского.
В заневских башнях тишина.
И на штыке у часового
горит полночная луна...

Стихи Федора Глинки лежали в кармашке памяти с бог знает какого времени. Разыскались, сами послушно всплыли. Тут же, вблизи, объявился Глеб Горбовский. Ах ты, посожалел я, к тебе-то я не прорвался, а надо бы, надо бы, Глебушка. Ведь тебе я посвятил «Балладу о стригунке». «Так уж!» – «Ага. Наизусть не могу. Видишь, какое дело? Я представил, меня иногда заносит. Гнали табун степных аргамаков через Петербург мимо Медного всадника. В трюмы гнали. Один аргамак, рыженький, заржал на взметенного жеребца. Перепутал весь табун. Воронка урагана получилась... Про тебя, Глеб. И о Пестеле там... А Горбовский исчез куда-то, растворился...» Я уже раскрывал дверь «Англетера». Чуть не пинком в мрачном коридоре смахнул створку номера. Подошел к Есенину.

– Прогуляться не помешало бы. – Потрогал отопительную трубу. – Холодна. Да и стоит ли кончать?! Изадору, может, встретим по дороге, пойдемте...

– Не-ет. Убирайся, теперь не поможешь... Я беспрекословно подчинился... Не заметил, как взошел по ступеням Эрмитажа. Это был фейерверк! То я разглядывал воскового Петра, натурального, в кресле. Бормотал: «Не такой вы громадный!» – и мчался прочь. Не угадаешь, кто я. Не Евгений ли, в лихо-

радочном бреду удирающий от взбешенного Медного всадника сквозь наводнение к Параше? Или в шинельке я Акакий Акакиевич... Я сядил на постели стиснув голову. Костер продолжал пылать. Я снова накрывался подушкой, другую поднимая затылком. Калейдоскоп утихомирился наконец... Я стоял перед Врубелем в Русском музее – перед демоном поверженным...

* * *

И только тогда я понял, что оборвалась моя одна бесконечная белая ночь Петербурга, когда знакомо замерцала огнями такая родная, обыкновенная, накрытая широким пологом черной ночи Казань. В соседнем кресле дремала юная девушка, опустив на колени раскрытую книгу.

– Вот, кажется, и дома, – сказал я с облегчением.

– Кто же так спешит от белых ночей? – спросила попутчица.

– Вы, – сказал я. На два дня всего и – назад. Подвиг! – улыбнулся я.

– С «Гамлетом» под рукой.

– Сыграем через месяц свадьбу. Уже у нас в Петербурге. Умоемся напоследок белой ночью.

– Отлично, – сказал я. – Вы мне кого-то напоминаете. Но это так, так... Желаю всех благ.

Сошел я, возвращаясь трамваем, у старого дома на Комлева. В глубине двора меня встретили. Теперь уже навсегда погасшие окна. Дом покосился, готовый вот-вот подломить колени.

– Ничего не поделаешь, старина, – вздохнул я. – Кому сладко, пусть радуются.

Из этого окна смеялась, завидев меня у ворот, девочка. Тысячу лет назад.

Содержание

Моя Казань! – сказать имею право

Моя!	
Родина	
Кремль	
Вещий сон. Сююмбике	
Казань романтическая	
Утро	
Акварели	
Слободские видения	
Март	
Предутреннее видение	
Февраль	
«Без малой родины и мы невелики...»	
Маляры у Казанского кремля	
«Мечеть Азимовская хороша...»	
Исповедь на заре вечерней	
Моя столица	
Смех	
«Перетекают дни один в другой...»	
«Если б меня спросили...»	
«О родине особые слова...»	
«Я живу на земле...»	
Родина	
Жить!..	
«Я в чудный миг был тем и этим...»	
Лодка	

Я был на той войне

Огни вокзала	
«Я был на той войне...»	
«На вечно зеленом, зеленом, зеленом...»	
«До меня ли там?...»	
«На том островке...»	
«Отец и мать ушли...»	
«Дождь какой!..»	
Школа. Первая роль	
В мае	
«На моей поваленной березе...»	
Мотив	

Безмерное – бестревожное
Ночь соловьиная
Млеко
«Кто подходил ко мне...»
«Далеко...»
«Во мраке ночи снег шумит, как стая птиц...»
Отец
Твой голос
«Мыльная пена...»
О музыке
«Травкою бугор оброс...»
Пришелец
«Я протягиваюсь взглядом...»
Путь
«Холодно, мать...»
«Как она там, в земле?...»
Мартовские прозрения
Песня вечерняя
«В домах деревянных теплей жилось...»
Дверь
Время черного валенка
Зимние сумерки
Круги
Двор
Линь
«А время метит вскользь, исподтишка...»
«Цветы, цветы с утра до темноты...»
Я ничего не позабыл
Две жизни
Осень 45-го
«На ржавом железе мороза соль...»
Подкидыш
Заклинание
Старухи
«Живот земли изодранный опал...»
Не последняя
Вода
«Приходят, садятся...»
Осенние игры

О земном, небесном – о безднах

«Этажерка в головках резных...»
«Пообвыкся с расставаньем...»
Долина
Миг
Корова
Дул ветер, дул
«Жизнь здоровая, чужая...»
Чудо
Блики женщины
Схлёсты
Смолы слеза
Проза
«В беспросветности, в бесприютности...»
Слеза
Ночь перед Пасхой
«Страшусь похмельного ненастья...»
Ноченька
Волна

«Я опять приду всенепременно к чуду!..»
«Как за соломинку, за паутинку...»
«А все-таки желание жить всеильно!..»
Дуб
Свеча (*баллада*)
Угощение, как просьба о прощении
Гроза. Демон
Портрет
«Ничего, клянусь я, не унижу...»
Окольная
Воля
«У всякого своя беда...»
Соловей
Люблю
«Словами опрометчиво бросаемся...»
Угол
Песнь
Дорога
По прямизне
Бег
Рубец
Камень
Цветок
«Я внимателен, очень внимателен...»
«Отец и сын на бревнышке сидят...»
«Галчонок выпал из гнезда...»
«Вы о чем догорали, березы...»
«Дышать в полях, в полях лечиться...»
Аккордеон
Вдали от дома
Имя
«Та же осень и – очарованье...»
Тень
Этюд
Фешин в моей юности
Под небесами
«Лучше чего...»
Гусь
«Пора бы кое-что переименовать...»
«Гармонь играет. Я спокоен...»
«Ну, в самом деле – много ль толку...»
Белолицый Март
Чаепитие
«Последний солнца луч...»
«В окошке свеча горит...»
«Себя перепроверить мудрено ли...»
«Эти – пройдут, а те – спохватятся...»
«Молчи, скрывайся и таи...»
«Щемящих листьев шелестенье...»
«Обнаженные поля...»
«На нищей России играли...»
Перышки с руки
В гнезде осени
Аист
Продолжение Лукоморья
1. «Эполеты на цилиндр...»
2. «Ах, Пушкин! Баловень!..»
3. «Иная кладь, иные измышленья...»
Натали
Перекличка

Проза
Посох
Шахматы осенью
Утро – ночь
Призрак
1. «Свалялся пух... И мне, должно, пора...»
2. «Всегда задумчив, тих и грустен...»

Нить связующая

Предки
Пасека
Старцы
В снежный день
Ночь
Глубь
Сыновья
«Не мне изобретать другой язык...»
Август
«На кончике иглы...»
«Стена деревьев за окном...»
«Он посохи строгал...»
«Скудеет материнский ум...»
«По лесенке убогой строк...»
«Сегодня так мне одиноко...»
«Что этой девушке насмешливой...»
«Такие вечера случаются в природе...»
«А ночь опоздала звезду погасить...»
«Живу!...»
«Мне бы горн серебристый...»
«Молоком отпаивают слабых...»
Осень
Снег
Нить связующая
Птица
«Желание быть молодым...»
«До марта дожили...»
Чудак
На склоне дня
Простор
Время
Преимущество
Удивление
Что было
Начало зимы
На восходе, на закате
Зимой
Ложь
Восторг
Секреты
Ученик
Полдень жизни
Следы
Миг конца
Первозданность
Сольвейг
Младенец
Девушка
Юноша
Старуха
Ночью
Спор
Дерево
Жасмин
Гнездо
Лис
Доколе
Божок

Июнь
Грех
Баловница
Лес
Утро жизни
Молитва
Осенью
Давняя боль
В этом доме
Жизни срок
Перед стужей
Мотив
На воле
Песня
Сосед
Сны матерей
Семя
Колокольчик
Побывка
На родине моей
Мать
Игры
Урок
Дом поэта
Быть весне

Звезда летит, надежда не погасла

Октябрь
«— Что ты пригорбился...»
«Я сам содеял тишину...»
«Спокойствие даруется...»
Сладкая мука
Яз!
Путь
Плач
«Тишину бы в себе собрать...»
Какие были игры!
«Во тьме веранды ты стоишь...»
«Я люблю эти сумерки...»
Местность
Мираж. Июль
Блудный сын
«Два окна в старинном доме...»
Отчуждение
Падение снега
Колода неигральных карт, найденная в расщелине фонтана «желтого» дома

Через кручи

«Мне чаще лики тех, которых...»
Река
Ожиданье
«Уходят мои погодки...»
Вдали от дома
Нездешний
«Ах ты, птичка-невеличка...»
Погибающий ангел при Полярной звезде
Беседа
Тихо, спокойно
«Учись проигрывать, сынок...»
Адам
Иудей
Надежда
Раковина
«На языке тревоги и печали...»
Облепиха
«Как трудно это одолеть...(1)»
«Тот дом меня проглатывал...(2)»
«Да, старость вызывает сожаленье...»
«Две ягоды со стебля снял...»
«Сколько раз погибал!...»

«Здесь моря нет, но шум я слышу...»
 Тень
 Хозяин
 «Кому-то и грех во спасенье...»
 В гостях
 Кем-то убитый
 «Полуостров Крым...»
 Напев
 Вижу
 Мой стол
 Снежок
 «Теперь уж до весны...»
 «Беспокойство, беспокойство...»
 Три стихотворения
 Пловец
 Полет
 «Снег оседает, игольчат...»
 Два стихотворения
 «Снежок, как парашютный шелк...»
 «Изадора боса и распущенна...»
 «Быть нежным, элегичным...»
 «Дерево не падает к ногам...»
 «Тоскую по хорошей вести...»
 «Подрезают деревья...»
 «Они придут. И тени уберут...»
 Сентиментальное стихотворение
 Под мостом
 «У грозы глаза раскосы...»
 Волна
 «Вхожу в огонь...»
 Через годы
 Ночевка
 «Ушла. Но осталось свечение...»
 Вождь
 «Нищая моя любовь...»
 Ли Бо и Ду Фу на рассвете
 «Что было, то прошло! – она сказала...»
 «Первый день зимы радует светом...»
 «Тропинка ныряет в кусты...»
 «Когда, изгибаясь спиной...»
 «Маленькая баловница...»
 «Вскрикнет – и распадется...»
 «Крылом на земле отдыхает...»
 Вздох
 «Вы сами все бежите естества...»
 Бессмертник
 «Детям своим мы недодали ласки...»
 Вспышки
 «Море омывает стопы...»
 Полдень
 Дитя
 Утреннее преображение
 Имя
 «Веселым вихрем...»
 Лучинник
 Мечта
 Паром
 «Ночь белый город возвела...»
 Гармония
 «За кругом круг. Поэт поэта...»
 Вечерний свет
 «Окружила толпа деревьев...»
 Сон тополя
 «Асфальт почернел...»

«Столько на свете ступенек!..»
«Одуванчик мне сообщил...»
«Ты почему пригорбилась в скорби?..»
«Ночной пловец...»
«Врезана длинным ножом...»
На пахоте
«Я волка не видел...»
«Мой август – фолиант раскрытый...»
«Листья киоск окружили газетный...»
Миражи
«Два купола на закате...»
«На лапы залив привстал...»
«Лучше березы в раме балконной...»
«Под землей дышат...»
«О, как об этом обмолвиться?...»
«Тополь не зашуршит...»
«Только-только...»
«Христос как будто...»
«Слова потяжелели...»
След
Плач совы
«И годы, и десятилетия...»
«Дом разорен...»
«Помнить бы тебя, помнить...»
Магдалина

Приоткрытая дверь

Одна бесконечная белая ночь Петербурга

Литературно-художественное издание

Кутуев Рустем Адельшович

(Рустем Кутуй)

Профиль ветра

Стихи

Казань. Татарское книжное издательство. 2006

Редакторы *О.Г.Левадная, Р.Х.Курбанов*

Художник *И.Р.Шамсутдинов*

Художественный редактор *Р.Г.Шамсутдинов*

Техническое редактирование и компьютерная верстка *В.А.Савельевой*

Корректоры *Н.И.Максимова, А.Г.Хамитова*

С оригинал-макета подписано в печать 12.10.2006. Формат 70х108 1/132.
Бумага офсетная. Гарнитура «Копина». Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80.
Усл.кр. оп. 17,15. Усл.изд. л. 16,03. Тираж 2000. Заказ 3-892.

Татарское книжное издательство. 420111. Казань, ул. Баумана, 19.

<http://tatkniga.ru>

e-mail: tki@tatkniga.ru

Оригинал-макет подготовлен с помощью пакета программ *LatexTM*

ОАО Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».

420066. Казань, ул. Декабристов, 2.